



МИХАИЛ
ЩУКИН

ДАЛЬНИЙ
КЛИН

Молодой прозаик, участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей, по итогам которого в «Молодой гвардии» вышла первая книжка рассказов, посвятил свою повесть людям сибирской деревни. И о чем бы ни рассказывал автор — о подвиге женщин-хлеборобов в военные годы или же о сложнейшем переплетении нравственных и производственных проблем сегодняшней колхозной жизни — общий пафос произведения прямо говорит о красоте, может быть, важнейшего на земле труда человеческого, крестьянского труда.

Рецензенты *Коньяков В., Плитченко А.*

Щ $\frac{70302-057}{М 143(03)-82}$ 40—82.4702010200.

ДАЛЬНИЙ КЛИН

1

К середине сентября сорок четвертого года в Журавлихинской МТС осталось пять ходячих тракторов.

В это же время директора МТС, Семена Кирьяныча Архипова, окончательно доконал ревматизм. Пришлось ему снимать сапоги и залезать в старые катанки, обшитые кожей, но и это не помогло, боль грызла суставы, они щелкали, и легче не становилось даже во сне. Сегодня утром он особенно долго сползал с кровати, выпрямлялся, морщил узкое лицо с выбоинками от оспы и в контору пошел, заметно согнувшись.

Дорогой Семен Кирьяныч немного обыгался, приподнял голову и бабенок, которые заявились в контору следом за ним, встретил строго. А встали у него перед столом замужняя Серафима Забанина, холостая Нюрка Орехова и совсем молоденькая, семнадцать стукнуло, Маруська Лямкина. Они молчали, глядели в пол.

— Вот так. Знаю, что две недели дома не были, умалялись — все знаю. А Дальний клин надо спяхать. Сколько вы там ковыряться будете — день, неделю, три — без разницы. Но спашите! Зяби не будет — пропал клин. Весной ни у нас, ни у колхоза сил не хватит. Вон уже сколько земли побросали. Понятно? Дошло?

— Семен Кирьяныч, у меня парнишка зашибся, — чуть вперед выступила Серафима. — Мне денек бы, в больницу.

— Бабка свозит.

— Да она ж в небо горбом смотрит.

— Хватит! — заорал Семен Кирьяныч. — Ты мне по-саботируй, я тебя живо! Чикаться не буду. Седни после обеда чтоб духу не было. Ну, какого стоите?!

Серафима зло плюнула и широко, по-мужски, растер-ла плевков сапогом:

— А чтобыть вам всем!

И первой подалась из конторы.

— Черт топтанный, — ругалась Нюрка, когда они уже шли по двору. — Не могла его мать маленького в кадке утопить.

Маруська, не сказав ни слова, и теперь молчала. Она на ходу задремывала, запинаясь, и всякий раз голова ее на вытянутой тонкой шее дергалась вперед, а платок, слабо завязанный, сползал на глаза. Рядом с Серафимой и Нюркой, а они были широкой кости, уже ломаные в работе, она казалась заморенным птенчиком, который вывалился из гнезда, пурхается и не то что лететь, на ноги твердо встать не может.

— Ты, Манька, поспи хорошенько, — посоветовала Серафима. — А то опять на плуге сморит, голову еще срежет.

Такое уже было. Маруська на прошлой неделе, когда они с Серафимой пахали в ночь, задремала, и так сладко, быстро — слюнки изо рта потекли, — что кувыркнулась с плуга, а лемех прошел совсем рядом. Сейчас, вспомнив об этом, даже передернулась от острого холода, и сон вроде отстал. Прибавила шаг.

— А с парнишкой чего случилось? — вдруг вспомнила Нюрка. — Или ты так брехнула, для случая?

— Кого там — брехнула! Чуть сама не зашибла. Ночью-то вчера приехали, притащилась домой — ни рук, ни ног. Мать на моей кровати спит, не стала трогать, к Лешке прямо на топчан пала. И надо ведь, приснилось, будто головку с мотора сымаю. Помню, все по порядку

делала: сначала болты выкрутила, потом сдвинула, тяну на себя, чтоб на землю не бросить, да боюсь, как бы за колесо не задело. И так тяжело мне, спасу нет, прямо дрожит все в животе. Бросила, слышу — рев. Зенки-то разлепила, понять ничего не могу, потом дошло. Я Лешку-то во сне раздела догола и фурнула на пол. Он, бедный, затопился, аж посинел. И ручонку, видать, сильно зашиб, разбарабанило вот так.

— Скоро совсем рехнемся с этим железом. Виском бы стукнулся — и нет ребятенка.

Нюрка неторопливо и длинно выругалась. Ругалась она заковыристо, с коленцами и всегда после этого надолго замолкала. Свернула в проулок, к себе домой. Захлюстанный, грязный подол юбки бился о серые голенища сапог. Но ни подол, ни сапоги, ни старая фуфайчонка не могли отяжелить легкую, невесомую поступь ее молодой, еще не согнутой фигуры.

Разошлись по домам и Серафима с Маруськой. До обеда времени осталось всего ничего, а после обеда надо было уже выезжать.

2

Снова их ждал трактор. Стоял он один-одинешенек на краю энтээсовского двора, а под ним, в тени, отдыхала чья-то неказистая собачонка. Выпущен был этот колесник еще до войны, на Харьковском тракторном заводе, потом проехал на поезде от Украины до Сибири, попал на этот двор и радовал всех свеженькой краской, острыми шипами на задних колесах, которые при солнце весело поблескивали зайчиками, радовал, когда, поплевав из трубы дымом, далеко разносил вокруг веселый треск. Никто в ту пору не мог знать, что придет время и слезет с него краска, пообломаются кое-где шипы, помнется радиатор и погнется руль, а главное — будут его чуть не каждый день ремонтиро-

вать, чтобы подольше подержать на этом свете, с которого трактору давно пора было уходить.

Стоял он, остывший с ночи, с мазутными потеками, обшарпанный, и ждал. Серафима, а следом за ней Нюрка и Маруська подошли к нему и в раздумье остановились, оттягивая ту минуту, когда надо будет его завести. Заводился он плохо — одна маета. Но на этот раз вовремя подъехал и выручил Тятя.

Он остановил неподалеку лошадь, долго смотрел, потом вразвалку, помахивая короткими, литыми руками, подался к ним. Тятя был молодым, здоровенным парнем, но дурачком, тем самым, без которого ни одна деревня обойтись не может. Смиранный по характеру, как телок, он ни на кого не обижался и давно мечтал жениться на учительнице. Сколько раз сватался и в своей Журавлихе, и в соседних деревнях, но молодые учительницы почему-то дружно ему отказывали. В нынешнее время Тятя был незаменимым, любую работу делал хоть и бестолково, но безотказно, а больше всего любил заводить трактор.

Плечом отодвинул Серафиму, снял с головы фуражку, на которой уже протерлась большая, с ладонь, дыра, обхватил рукоятку этой фуражкой и пошел наяривать с такой силой, что подрагивал весь трактор, и словно от этого подрагивания что-то засвербило в железном нутре, мотор наконец кашлянул раз, другой и выпустил длинную, трескучую очередь, полетели в свежий осенний воздух темно-сизые кольца.

— А я так: хап — и готово!

Тятя широко улыбался, нахлобучивая на голову фуражку, из дыры буйно вылезали на волю густые рыжие кудри — из кольца в кольцо. Стригся Тятя раз в год, по весне, но уже летом у него снова отрастала густая копна, которую не брал ни один гребень. С ногтями дело было еще хуже, он их отпускал такие, что они загибались вниз и вращались в пальцы ног. Взяли как-то му-

жики на покосе наковаленку (до войны еще случилось), уговорили Тятю и зубилом обрубili ему ногти — кро- вищи, как из барана. Два дня он не показывался, а по- том пришел на стан, растянул свое круглое конопатое лицо в радостной улыбке:

— А легко-то как! Во, спасибо, хап — и нету!

Мужики ржут — концерт бесплатный. Тятя и вправду раньше вроде забавы был. По-своему его любили.

Трактор гудел, и лошадь, на которой приехал Тятя, косила глазом, пятилась. На телеге стояли две бочки с горючим, лагушок с водой и лежал потрепанный бре- зентовый мешок с кое-какими запчастями. Сюда же по- бросали свои узелки с харчишками и запасной одежон- кой.

Тятя все улыбался, довольный сделанным делом.

— Чего ощерился! — прикрикнула Нюрка. — Садись давай, поехали!

— Поехали, поехали, — засуетился Тятя. — Нам хап — и готово!

Забрался на передок, понужнул вожжами лошадь (она все не переставала коситься на трактор), и колеса телеги застукали по неровному двору МТС. Серафима, крепко обжимая ладонями руль, прямая, обогнала их и, не поворачивая головы, крикнула:

— Вы тут не мешкайте. Чтобы быстро.

— У, холера, и эта строжится, — бормотала Нюрка себе под нос и болтала ногами, свесив их с телеги.

Поля, мимо которых ехали, были убраны, виднелись только скирды, да сквозь щетину жнивья пробивалась кое-где, зеленея, отава — последняя, осенняя трава. Осы- пались, пустели колки, и солнце пронизывало их на- сквозь, высвечивая каждую ветку, каждый плавно сколь- зящий в безветрии лист.

Стояла такая благодать кругом, что Нюрка даже закрыла глаза, притихла и тут же разозлилась. Стала подковыривать Тятю:

- Ну, нашел учительницу?
- Не-а.
- Плохо ищешь.
- Не-а, я найду, хап — и готово.
- Слышь, Тятя, а меня в жены возьмешь?
- Не, ты своя, деревенская. Мне учительницу надо.
- Ну и что, чем я хуже? — Нюрка подалась к нему, поглаживая груди. — На, бери.
- Не, я боюсь.

Тятя вжал голову в плечи и пригнулся, боясь оглядываться назад. А Нюрка хохотала до икоты и болтала ногами. Запела потом:

Хаз-Булат удалой,
Бедна сакля твоя...

Оборвала песню, опять закрыла глаза и замолкла. Скрип-скрип, скрип-скрип — крутились колеса, напрыгавшая лошадь, тащила телегу, пригибая голову вниз, к земле. Солнце падало, и все дальше, по полю, по жнивью, по отаве, тянулись ломаные тени колков. Недалеке виднелось облако пыли, впереди него ехала на тракторе Серафима, все так же прямо сидела за рулем, даже не оглядывалась, насккивал иногда ветерок, доносил треск мотора.

И так все дальше. Впереди — трактор, сзади — лошадь, железные и деревянные колеса мяли сухую, сыпучую землю. Когда поползли на дорогу сумерки, показался Дальний клин, вбитый глубоко в бор. Земля эта, на которой пахали и сеяли, действительно напоминала клин, острие которого рассекало сосны до небольшого лога. Они стояли, как на подбор, высокие, кряжистые, обметанные понизу мелким кустарником. Дальше густо закрывал землю посохший уже рыжеватый папоротник.

Станным было соседство: глухой бор и убранный хлебный клин, казалось, деревья только и ждут момен-

та, чтобы двинуться на желтое жнивье. Переплести все корнями, зарастить густым папоротником, кустарником — вырвать, задавить своей силой землю, всегда принадлежавшую только им. Они разгонялись, добежали до краев клина и — останавливались. Клин, яростно сопротивляясь, не отступая и не уступая, по-прежнему, даже сейчас, в худые годы, каждую осень приподнимал натруженную грудь после пахоты. Весной забирал в себя семена, выкидывал зеленые, еще тощие, низкие ростки и гнал, гнал их, не останавливаясь, вверх, пока не поднималась густая стена пшеницы.

А потом приходила жатва.

Сосны и клин помнили их немало, разных. Особенно первую. В двадцать втором году пришли убирать сюда урожай люди из Журавлихинской коммуны. Это они и вырубил клин, отобрали землю у бора, выкорчевали пни, распахали целик. Хлеба наворотило в тот год — думали, и не справиться. Но убрали, сложили в суслоны и готовились молотить, когда в сентябрьскую тихую ночь налетела из-за Оби банда. Выше сосен метнулось пламя. К запаху горелого хлеба примешивался тошнотный запах горелого человеческого мяса. Пятерых коммунаров, которые оставались караулить суслоны, расстреляли и бросили в огонь.

Пустой и мертвый лежал клин в ту осень. Ветер гонял по нему тучи пепла и сажки, до самых дождей не выветривался запах пожара и даже вороны облетали гиблое место. Совсем не показывались люди.

Помнят сосны и клин другие жатвы. Многолюдные, работающие, с гулом первого прицепного комбайна, когда густой хлебный дух забивал жаркое дыхание хвойного бора. Все дальше, шире раздвигали люди плоть деревьев, кустарника, трав и цветов; все привольней, размашистей ходили сначала зеленые, потом серо-каленые волны пшеницы. Бор, ошеломленный многолюдьем, гулом, голосами, железным звяканьем, отступал, но наде-

ялся, дожидался своего часа, копил в полутемных недрах силу.

И совсем хорошо помнят сосны и клин последнюю жатву, нынешнюю. Долго-долго, поднимая невысокую пыль, тянулись по дороге несколько лошадей да люди. Когда подошли ближе, то оказалось — одни старики да старухи, сопливые ребятишки да несколько затурканных работой злых баб с хрипыми голосами. Помнят и голос председателя колхоза «Красный самолет», он чуть не на коленях упрашивал, молил:

— Родненькие вы мои, милые, хлебушко не оставьте! Нет у меня больше людей. Не оставьте!

Пошли в дело после долгого перерыва снятые с подызбиц и вытащенные из кладовок, порядком забытые и поржавевшие серпы, пошли, сердешные, пригодились. Не было песен, громкого смеха, многого не было. И хотя, как прежде, убрали хлеб, хотя председатель привез в награду бабам и старикам лагушок пива, хотя этот лагушок выпили и даже пели песни, хотя говорили между собой: «Ничего, вроде немного осталось», хотя даже веселели от этих слов — все не то было, не то...

Не зря дожидался бор своего часа, не зря верил. Уже не первый год он все дальше от себя отпускал траву, кустарник, затягивал край пахоты. После нынешней жатвы, надеялся бор, ни у кого не хватит сил, чтобы вспахать землю, он ее засыплет своими семенами, окружит с трех сторон, подомнет и задавит.

3

Невысокая избушка стояла у крайних сосен: срубленная из толстых бревен, она давно почернела, загнила понизу, но еще держалась. Крышу когда-то обкладывали дерном, и теперь на ней буйно росла полынь. Через маленькое оконце с выбитыми стеклами проникал неяркий вечерний свет, падал на широкие нары, на длин-

ный стол, сколоченный из толстых досок, на печку, кое-как обмазанную и потому дымившую так, что снаружи глина и кирпичи у нее обросли сажей. Застойно пахло старой, истертой соломой и мышами.

Серафима со скрипом оттащила дверь избушки, ступила через порог, постояла посредине, не зная, за что взяться, махнула рукой и вышла. Тятя стаскивал с телеги бочки с лигроином, не старался, чтобы ловчее, брал в обхват, тужился, оттопыривая толстые губы, и шумно, носом, сопел. Маруся все еще сидела на телеге и по-прежнему дремала. Нюрка на кромке бора собирала сушняк и, наверное, ругалась, но слов нельзя было разобрать, доносилось только невнятное бормотанье. Все это Серафима увидела разом: Тятю, Маруську, Нюрку, клин со жнивьем, который сейчас, в соседстве хилого трактора и этих горе-работников казался необъятным, пугающим, словно растворялся в недалгих сумерках, а там, за ними, лежали версты и версты, может быть, доставали до самого края неба.

Не оставляя времени на раздумья, заторопилась, закричала, подхлестывая себя своим же голосом:

— Маруся! Хватит дрыхнуть! Вставай! Тятя! Ну-ка переверни бочку, поставь на попа. Да живей ты, не телись!

Испуганно соскочила с телеги Маруся, шустрей зашевелился Тятя, даже Нюрка — а она обычно не очень-то пугалась Серафимы — прибавила шагу, подтаскивая к избушке большую охапку сушняка. Печку затоплять не стали, разожгли костер на улице.

На яркое пламя плотней и ближе подошли сумерки, вокруг все затихло, улеглось на ночь.

— Нам здесь, Серафима, до морковкиного заговенья ковыряться, — Нюрка повела алой от костра рукой. — Столько земли перевернуть, жилы лопнут.

— Не лопнут. Не царские дочери.

— Царские! Насмешила. Мы на баб-то непохожи.

Тебя вот добрый человек увидит где ночью, заикаться будет.

Она присела и снизу вверх стала рассматривать Серафиму. От старых сморщенных сапог до кургузого пиджака, из-под которого виднелась застиранная мужнина рубаша. Нюрка не придурялась, она действительно с интересом смотрела на Серафиму, на ее черные, охапкой столканные под платок волосы, на вытянутое смуглое лицо, которое после жаркого лета совсем почернело, походило на обгоревшую головешку. И сама Серафима была словно обгорелая, словно слизал огонь все веточки, все листики, оставил только самую крепкую, обугленную серединку.

Под Нюркиным цепким взглядом она перевязала платок и с затаенной тревогой спросила:

— Неужели такая страшная?

— А-а! — радостно рассмеялась Нюрка. — А-а!

— Не акай. Давайте варить и спать. Завтра чуть свет подниму.

Цельную пшеницу раскатали бутылкой на доске и заварили кашу, бросили для приправы в котел ржавый кусок прошлогоднего сала. Каша варилась долго, и, перемогая это тягучее время, все сидели около костра молча. Потом также молча расположились у котла и только невнятно постукивали ложки.

Серафима подала команду спать. Сама затоптала костер и в избушке легла на дальний край нар, чтобы не так был слышен громкий храп Тяти (тот обычно засыпал до того, как ложился).

Шебаршили под нарами мыши, потом осмелели, начали попискивать, устроили возню. Серафима несколько раз кашлянула, но они и не думали успокаиваться. Надо было спать, а сон не брал. Серафима ворочалась, укладывала удобней тяжелые, намаянные руки и зря. Всякие мысли лезли в голову, но все-таки пересилила себя и забылась тяжелым сном, который редко приносит от-

дых, чаще оставляет человека разбитым, с тяжелой головой, в ней еще бродят, вспоминаются неясные, мутные обрывки видений, не имеющие ни конца, ни начала.

До войны среди деревенских баб она ничем не выделялась. Было время — бегала на вечерки, пришло время — вышла замуж. Родила парнишку. Так же, как другие, выла на проводах, бежала в пыли за телегами до самого свертка за речкой — и долго бы еще бежала, но запнулась, упала. Телеги с мужиками скрылись за колесами, а она все лежала, пока не подошли бабы и не подняли ее. Серафима слабо все помнила, иногда ей становилось даже обидно, что не сохранила в памяти взгляд Ивана, его слова в тот день. Была как оглушенная. Остался только, врезался — и на всю жизнь, видно — душный запах горячей пыли, глубокой и мягкой, на дороге. Она и упала в нее только потому, что задохнулась. И пока лежала вниз лицом, эта пыль забилась в рот, скрипела на зубах, все сушила. И — высушила. За эти годы никто у Серафимы слезинки не видел. В работе она была неистойвой и в посевную или в уборку чернела лицом, словно обгорала. Взгляд ее дурнел и казался таким холодным и безжалостно-спокойным, что людям, которые работали рядом, становилось не по себе. Плугари на ее тракторе подолгу не выдерживали, чаще всего сползали через неделю-другую с плуга, падали в борозду и ревели: лучше в тюрьму сяду, чем с ней пахать! Серафима не ругалась, ничего им не говорила, а шла в МТС требовать нового плугаря. Нынешней весной ей назначили сразу двоих.

Наконец-то угомонились и мыши. Тятя оглушающе храпел. Ему никогда ничего не снилось.

А Маруська видела больших цветных бабочек, порхающих над летним лугом. Если бежать по такому лугу, то ноги долго не устают, и она бежала, бежала. Дыхание у нее было легким, неслышным, лишь изредка нарушалось сладким причмокиванием. Прошлой весной

она закончила шесть классов и проходила теперь, как сказала мать, седьмой — коридор.

Не спала только Нюрка. Широко открытыми глазами смотрела в темноту и ничего не видела, даже своей руки, которой проводила иногда по лицу. Рука была горячей, и от нее так же горячо загоралось лицо, долго потом не остывало и наливалось, наверное, румянцем. Нюрке шел двадцать пятый год. В это время многие из ее ровни нянкали ребятишек, вон Серафима, на два года всего старше. А Нюрка все еще была незамужняя.

На вечерки она начала бегать раньше всех своих сверстниц. Через год была уже первой невестой на всю Журавлиху и разговоров, которые шли про нее, хватило бы на всех девок в проулке. Так уж получалось, что всем парням она была любя. Только бы захотела Нюрка, только бы глазом повела — любой пригнал бы сватов в тот же день. Но в том и беда, ждала парня особенного, толком сама не знала какого, но особенного. А тут война. Нюрка все ждала. Потом устала, обозлилась и за какой-то год стала отчаянной матершинницей и похабницей.

Все это было днем, а ночью наплывала, укачивала старая мечта. Не давала спать, крутила винтом на жаркой постели, звала куда-то. Куда? Если бы знать.

Нюрка осторожно слезла с нар и прямо босиком выбралась из избушки. Уже пала роса, по-осеннему холодная и негустая, обжигала, леденила ноги, но Нюрка брела дальше и дальше по колкому жнивью, остывая телом и головой. Ее не пугали потемки, не пугал глухой шум бора и непонятные вокруг шорохи, не пугало даже то, что она не видела под собой земли, не видела, куда ставит ноги. Долго бродила по сжатому клину, пока не замерзла.

Утром Серафима подняла всех спозаранку, когда с восточной стороны только едва завиднелись макушки сосен. Стоял тяжелый морок, который обычно заканчивает светлые дни бабьего лета, а потом тянет к себе дожди, холод и слякоть — самую неприглядную тоскливую пору, когда даже земля устает и не берет в себя влагу, ждет морозов, первого снега.

Спросонья вздрагивала и позевывала Маруська, раскатывала бутылкой на доске зерна пшеницы, они хрустели и рассыпались твердыми комочками. Она иногда брала щепоть, слизывала ее и медленно жевала. Нюрка собиралась заправлять трактор, наклоняла к ведру бочку с лигроином и тоже вздрагивала, то ли от холода, то ли от тяжести. Бочка отпотела, и от рук оставались на ней темные полосы. Влажный налет лежал и на тракторе. Серафима проверяла мотор, прикидывала, когда надо будет делать перетяжку — самое колготное дело. Сырость лезла под пиджак, обдавала тело гусиными пупырышками.

Один Тятя, словно не чуя ни морока, ни знобящей прохлады, расхаживал босиком, разводил костер, вешал на палку котел с водой и по привычке улыбался так широко, что шевелились уши. Ему все было нипочем. Как-то, в один довоенный год, на покосе ливанул обложной дождь. Кто где мог, там и прятался: одни в копну залезли, другие под телеги, натянув на себя что под руку подвернулось. Утром поднялись и, как водится, стали рассказывать, кто где ночевал. Тятя стоял тут же и слушал.

— А ты где был, сердешный? Куда от дождя прятался?

Он улыбнулся, глянул на мужиков, ничего не понимая:

— А разве дождь был?

Оказывается, он всю ночь проспал у потухшего костра и ничего не заметил.

Понемногу светлело, но солнце так и не показывалось, сумрачное, низкое нависало небо, похожее на одну сплошную тучу. Начал подувать ветер, наскоки его становились сильней, резче. Подставив этому ветру спины, торопливо глотали пшеничную кашу. Утро словно всех придавило.

Тятя пальцем выскреб из котла остатки, сыто прижмурился и снял свою дыроватую фуражку. Долго крутил рукоятку, пока не завелся трактор, а когда завелся, вытащил рукоятку и победно глянул:

— А я так: хап — и готово!

Он ждал, что его похвалят, но всем было не до него.

Маруська примостилась на плуге, Серафима вывела трактор на кромку клина, и три блестящих, надраенных лемеха врезались в землю. Первая полоса медленно потянулась по жнивью. Была эта полоса махонькой на большом клине, такой махонькой, словно тонкую нитку положили на краешек широкого стола.

Работали они обычно так. Серафима не слезала с трактора, а Маруська с Нюркой по очереди менялись на плуге. Фары давно уже выбили, поэтому ночью кто-то из них брал «летучую мышь» и шел впереди, светил. Серафима так уматывала девок, что они к полуночи на ходу засыпали. Придется и здесь, на Дальнем клине, прихватывать ночь, иначе вовремя не управиться.

Неловко согнувшись, Маруська держалась за рычаг, который тянула на себя, когда надо было поднять плуг на повороте, и этот рычаг нагрелся от ладони, не холодило, от него не хотелось даже отрываться, если требовалось деревянной лопаточкой очистить с лемехов налипшую землю. В это время Маруська ни о чем не думала, только считала круги, сделанные трактором. А под конец, когда тупой болью сводило поясницу, когда тяжелели руки и от стрекота трактора, от нудной езды на

тряском плуге начинала гудеть голова и клониться вниз, тогда Маруся ждала только одного — скорей бы заглох мотор. Или Серафима его сама остановит, или он сломается, или лигроин кончится, неважно это, лишь бы заглох.

Ширилась полоса, но медленно, едва заметно.

На одном конце клина был неровный кочковатый участок, плуг там скрипел и ерзал, казалось, вот сейчас лемеха выскочат из земли и пойдут поверху. Цепко обхватив руками руль, Серафима тряслась на деревянном сиденье, под которым позвякивали ключи и гайки, изредка оглядывалась на Маруську: не задремала ли, хотя задремать при такой тряске было мудрено. От накаленного мотора уже наносило жаром, пожалуй, скоро придется делать перетяжку. Обычный случай, пора уже и привыкнуть, но Серафиме всякий раз становится страшно, когда замирает железо. Она его плохо знала и ненавидела, этот разбитый трактор. Всю жизнь, сколько помнит себя, Серафима любила косить и сгребать сено в духмяном раздолье июля, любила доить корову, обмывать ее тугое, налитое вымя, совать в мягкие губы круто посоленную горбушку, любила пеленать и кормить грудью своего парнишку, а он родился пухлощеким, толстым, с нежными складками на ножках и ручках, от них пахло по-особенному, и она не могла надышаться этим особенным запахом, которому до сих пор и названия не придумала. Серафима все это любила. И ненавидела запах лигроина, липкую теплоту мазута, молчаливое, неживое железо, оно всегда ей сопротивлялось, заставляло отчаиваться, когда вдруг мертвело и когда казалось: ни сил не хватит, ни ума, чтобы оно ожило и заработало.

Мотор заглох. Стало хорошо слышно, как в бору шумит ветер.

С перетяжкой возилась долго. Тятя уехал в деревню, и заводить пришлось втроем. Достали веревку, привязали к рукоятке. Нюрка, закусив губу, с растрепанными

из-под платка волосами, нагнувшись, рвала снизу рукоятку вправо, наваливалась всем телом и посылала ее вниз, и снова снизу, вправо, вверх. Дергали за концы веревки Маруся с Серафимой. Но только холодное побрякивание долетало из нутра мотора. Нюрка напрягалась из последних сил, рвала рукоятку. В моторе вдруг что-то хрюкнуло, она, сжимая потными ладонями железяку, рванула сильнее и даже не ухватила того момента, когда рукоятка сыграла: крутнулась назад, вверх, распоролась концом юбку, надутую ветром, и, завершая свой короткий стремительный круг, обожгла руку. Нюрка не слышала, как щелкнули большой и указательный пальцы, даже не сообразила, что выбило их, откинулась назад от мотора, запнулась и упала спиной на острое, колкое жнивье.

— А, холера, сколько раз говорено, не обхватывай ручку! — ругалась Серафима. — Не ори, — сноровисто ощупала ее пальцы — нужда научила, стала заправским костоправом. — Не ори.

Но Нюрка орала и подтягивала к животу колени, когда Серафима раз за разом дернула выбитые пальцы.

— Вот теперь все. Пора уж научиться, не маленькая.

Засунув руки в прореху разодранной юбки, Нюрка зажимала ее тесно сдвинутыми и поднятыми коленями, лежала по-прежнему на спине и тихонько стонала.

В это самое время показался на дороге черный мерин, запряженный в легонький ходок. Ехал в нем Семен Кирьяныч. Ходок резко свернул с дороги, и мерин, не сбиваясь с рыси, ловко подкатил его к трактору. Колеса, окованные толстым железом, вмяли на жнивье две длинные полосы. Семен Кирьяныч выкинул из ходка ноги в пимах, нетвердо ступил на землю. Остановился напротив Серафимы, как-то необычно, странно посмотрел на нее, пощупал правый карман кителя, где хрустнула какая-то бумажка, мотнул головой и повернулся к Нюрке:

— Что случилось?

Нюрка отвернулась и промолчала, за нее ответила Серафима:

— Пальцы рукояткой вышибла.

— Заводить надо с умом! С умом! Дошло? Напахали — курам на смех! До весны будете ковыряться!

Он закричал, лицо побледнело, даже сквозь обычную серость и редкую седую щетину виднелась эта бледность, еще ярче, крупнее проступили выбоинки оспы. — День и ночь пашите! Ясно?

Нюрка повернулась и пошла.

— Стой! Куда? Под суд отдам, я чикаться не буду!

Нюрка не остановилась.

— Это еще что за фокусы? Я тебя спрашиваю, Забанина.

Серафима вытащила из трактора заводную рукоятку и протянула Семену Кирьянычу, протянула таким манером, будто раздумывала: то ли отдать эту железяку, то ли навернуть ей по голове начальника, прошипела:

— На, заводи. С умом заводи.

Он глянул на Серафиму, на ее лицо, стянутое злостью.

— Давай. Беритесь за веревку.

Взял рукоятку и, заметно припадая сразу на обе ноги, пошел к трактору. И опять все сначала. Семен Кирьяныч топтался, дергался, видно было, что сил у него нет, но рукоятку не бросал. Крутил. И трактор завелся, загудел, задрожал, выбрасывая из трубы вонючие кольца дыма. Семен Кирьяныч держал на отлете рукоятку, дышал со всхлипами, закрыв глаза и открыв рот. Так и не отдышался, бросил рукоятку Серафиме под ноги:

— В воскресенье чтоб были в МТС. Чтоб все вспахали! Ясно? Дошло?

Поковылял к ходку, все щупал карман кителя, щупал и спотыкался.

К вечеру на плуг села Нюрка. Серафима даже трактор не остановила: одна прыгнула, другая заскочила. Снова поперек клина, туда-обратно, пошли отчеркиваться и отваливаться ровно срезанные пласты, они густо кололись трещинами и поблескивали. Разрезанная земля источала густой и влажный дух. Но Серафиме все перебивал горький запах мазута. Мотор трактора, радиатор, в котором уже начинала закипать вода, медные трубки и стальные гайки — все было укрыто, забито толстым слоем пыли, смешанной с мазутом. Крепче всего она въедается в кожу, и, сколько потом ни шоркай руки, сколько их ни отмывай, они такими и останутся — в черных морщинах.

Вода в радиаторе все-таки закипела, повалил горячий, белесый пар. Нюрка, как только трактор встал, слезла с плуга и упала в борозду. Земля была мягкая и чуть теплая, лежать на ней было удобно. Выбитые пальцы ныли, она зарыла руку в землю, и грызь, которая не давала покоя, потихоньку исчезла. Нюрка вспомнила злое лицо Семена Кирьяныча и с запоздалым испугом подумала, что он ее может и посадить. Запросто. Ведь упек же прошлым летом двух бабенок за то, что не вышли на работу. Больше она уже ни о чем не думала. Спала.

— Вставай, некогда разлеживаться! — Серафима сильно толкала ее сапогом в бок. — Поехали.

Нюрка встала, резко разогнулась, и в глазах замельтешили красные точки, повело в сторону, но устояла, забралась на плуг. Увидела снова уезжающего в деревню Тятю, избушку, сосны над ней, опустила взгляд книзу, сильно потянула здоровой рукой рычаг, и лемеха плавно вошли в землю. Трактор взревел, натужился и дальше потащил за собой черную полосу.

Клин раскалывался теперь на две неравные части: нетронутую и вспаханную. Над клином плыли одна за другой тучи, густой лохматой стаей. Трактор в мутном пространстве казался совсем маленьким и еще меньше — люди. Посыпал дождь, косой, с ветром, уже по-настоящему, по-осеннему холодный. Земля стала налипать на плуг, и очищать его становилось все труднее: коченели и не слушались мокрые руки. Скоро и борозда потерялась из вида в сумерках. Серафиме пришлось остановить трактор: ничего не различала впереди, да и пора было заправиться горючим.

— Давай там Маруську с фонарем. И лигроин тащите.

Нюрка пошла по мокрой пахоте и самой себе говорила: «Рехнулась баба, совсем рехнулась. В дождь пахать...» Сказать этого вслух не могла, потому что спорить с Серафимой в такие минуты страшновато — одним взглядом зарежет. Дождь сек прямо по лицу, и некуда было отвернуться.

Лигроин налили в ведра, захватили «летучую мышь» и назад с Маруськой тоже подались по пахоте. Тяжелые ведра оттягивали руки, трудно было идти, проваливаясь в мокрой земле, когда сводит холодом пальцы, а капли скатываются за воротник. Нюрке даже показалось, что кто-то сел ей на плечи и гнет вниз. А впереди еще ждал плуг, облепленный комками жирной земли; ждала еще ночная пахота. Она остановилась, поставила ведра и быстро, пригоршнями, стала бросать в них землю.

— Нью-ю-ра! — охнула Маруська, когда оглянулась.

— Молчи, ничего не видела. Ее никак больше не остановишь, сдохнуть, что ли! Ступай.

Она снова подняла ведра и потащила. Трактор едва виднелся. Когда добрались до него, засветили фонарь, стали заливать в бак лигроин. Серафима до половины

вылила первое ведро и остановилась, поболтала, быстро сунула в него руку.

— Маруська, подай свет поближе.

Поднесла руку к самым глазам. Вытерла ее о пиджак и повернулась:

— Девки, вы сдурели? Это ж вредительство. Да нас с вами... Выливай все на землю.

— Докладывать побежишь? Давай беги!

— Дура ты, Нюрка. Выливай, кому сказано!

В свете фонаря было видно, как у Маруськи от страха трясется мокрое лицо. Нюрка стояла не шевелясь. Потрескивал фонарь, шумел дождь. Тогда Серафима сама перевернула ведра и сапогом наскребла на темную лужу земли. За дужки взяла ведра, подтолкнула девок:

— Пошли давай.

В избушке натолкали в печку мокрых палок, и они долго, неохотно разгорались, выталкивали в щели между кирпичей едучий дым. Но вот огонь понемногу занялся, печка накалилась, пошел жар, и нижняя рубашка Маруськи, которую та в обед кое-как пожулькала, совсем высохла и закачалась от тепла, заиграла. Сухой воздух наполнил избушку, согрел. Все трое молчали. Нюрка с Маруськой пытались не смотреть на Серафиму, они как бы отделились сейчас, отрезались от нее. Она заметила это, хотела что-то сказать, но не нашла подходящих слов. Просто захотелось обнять девок и вдоволь нареваться. Но плакать она разучилась.

Снова варили пшеничную кашу, проглядели, и она еще вдобавок пригорела.

— Эх вы, невесты, замуж никто не возьмет! — вырвалось это у Серафимы случайно, просто, и она почувствовала облегчение. — Чего нахохлились, как клуши? Маруська, ну-ка стаскивай все с себя, садись к печке, зубы вон чакают. Простынете — я куда с вами?

Маруська и вправду дрожала. Снизу вверх глянула

на Серафиму, робко, еще не веря, улыбнулась и тут же торопливо стала раздеваться.

Дождь на улице разошелся не на шутку, тряпка, которой завесили оконце, намокла и провисла. Но в печке весело крутился огонь, гудело в трубе, и совсем не слышно было, что за стенами избушки, в непроглядной темноте, мочит землю косой дождь. Иногда по полыни на крыше с шумом прокатывался ветер и в щели у печки вылетал дым.

Серафима залезла на нары, согнала с лица обычную хмурость и удивленно рассмеялась:

— А знаете, девки, мне спать неохота. Ей богу. Вот номер!

— И мне тоже.

Маруська от жары разругянилась, сидела на корточках возле печки, накинув фуфайку на голое тело, и когда она повернулась, полы разъехались, в неярком свете от фонаря мелькнули маленькие розовые грудки. Она стыдливо запахнула фуфайку и этим рассмешила Нюрку:

— Кого зажимаешься-то! Не украдем.

Маруська смутилась, заругянилась еще пуще, но Нюрка — она тоже почувствовала это общее для всех облегчение — не унималась:

— Не бойся, такого тебе жениха отхватим! Ух! Забудешь, как ночью спят.

Они хохотали с Серафимой, а Маруська только ниже клонила голову, но и ей тоже приятен был этот шуточный разговор, который отдалял только что случившееся на поле.

— Опоздала, Нюрка. Братуха-то мой, Илья, в каждом письме поминает: соседке привет передайте. Когда это вы успели? А, Маруська? И целовались, наверное? Ну-ка признавайся.

— Нет, нет, — испуганно отмахнулась Маруська.

Серафима согнулась от смеха. Не узнать ее было. Стянула с головы толстый платок, распустила тяжелый

узел черных волос, они обвалились за спину, и лицо сразу помолодело.

— Ох, девки вы мои милые! А черт с ним, завивай горе веревочкой. Точно, Маруська? Доставай мешок, вон тот, мой. На всякий случай брала, вдруг кто простынет. Давай, Нюрка, кружку, и сало тащи, какое осталось, не помрем!

Маруська достала из мешка бутылку с мутной самогонкой, заткнутую пробкой, осторожно глянула на Серафиму.

— Чего уставилась? Гулять будем! Праздник сделаем, что мы, не можем?

Глаза у нее заблестели, все движения были суетливыми, неверными. Щедро налила в кружку самогонки и подала Нюрке. Та закрыла глаза, ахнула разом и долго стояла, хлебая ртом воздух, забыв про кусок сала в руке. Кое-как отдышалась, захохотала и повалилась на нары.

— Я уже пьяная, голова кругом.

Выпила Серафима, чуть пригубила и Маруська. А через несколько минут в избушке стоял такой тарарам, смех и визг, что впору, если бы были, святых выносить. Все, что копилось долгие дни, не находя выхода, вырвалось наружу.

— А помните Васю Шарыгина — Баба Дай Ему? — Нюрка присела, хотела сделаться ниже ростом, закрутила головой и выпучила глаза: — Баба, дай ему! Дай!

До того было похоже, что Серафима ничком легла на нары. А Нюрка дальше изображала, меняя голос, всем известную в деревне историю, с которой и родилась эта кличка.

— Вася, ты мою копешку сгреб? А, признавайся! — будто бы и вправду гудел под хмельком сам Егорша Кривцов и тянул руку, чтобы ухватить за грудки тщедушного, малорослого Васю и потрясти. Но Вася быст-

ренько обогнул свою могучую, как сосновый кряж, жену и, выглядывая из-за нее, тонким голосишком скомандовал: «Баба, дай ему!» Хоть и завалященький, а все равно мужик, слушаться надо. Матрена закатала кофту на могучей руке и долбанула Егоршу в лоб. Только каблуками сбрыкал.

И давно бы пора уже спать, а не могли уняться. Нюрка решила изобразить мужика и тискала Серафиму.

— Ой, щекотно, да куда ты полезла, холера! Э-э, я таких щупаний не допускала, могла и отоварить. Смотри, Нюрка. Охальница.

— Не Нюрка, а Иван. Ты тоже его боялась?

— Иван! Он меня, знаешь, обнять стеснялся. Да погоди! Вот честное слово. До свадьбы и не целовались ни разу. А в первую ночь как положили нас у Забаниных, а кроватища-то, видала какая! Я с одного краешку, а он с другого. Вот чую, лежит вздыхает, и ни слова, ни полслова. Догадываюсь, что боится он, как бы передо мной себя не уронить. И так мне до слез хорошо стало — ведь достался никем не целованный, никем не обниманный. Эх, а весна была, окошко раскрыли, дух от черемухи — с ног сшибает, и светит она так, светит. Господи, было же времечко. Десять лет бы отдала, чтоб наново той ночью пожить.

Серафима даже глаза прикрыла и говорила уже для самой себя. Не заметила, что Маруся уснула, а Нюрка отодвинулась и молча плакала.

— Да ты что?

— Плачу, — растерянно и беспомощно отозвалась Нюрка. — Плачу вот. Завидую.

— Не надо, спи. Ты свое догонишь, молодая, красивая. Все еще будет. Спи.

Она гладила Нюрку по голове, как маленького ребенка, и та затихла. Затихал и дождь на улице, слабел.

По утрам Семен Кирьяныч обычно открывал окно в конторе и осматривал эмтээсовский двор. Внимательно и придирчиво. Каждый раз замечал, что на нем все больше становится беспорядка и запустения. Потом возвращался к большому замасленному столу, на котором лежали разные бумажки, старые разохшиеся сче-ты, амбарная книга и три толстых красных карандаша, больше он ничем не писал, поэтому все бумаги, где были его распоряжения, приобретали суровость и выделялись цветом.

На этот раз он долго не брался за свои дела. Вытащил из нагрудного кармана кителя казенный серый конверт, достал из него такой же казенный серый листок, где среди печатных букв несколько слов было вписано от руки. Едва шевеля губами, читал: «Ваш сын и муж Иван Забанин пал смертью храбрых...»

Прочитывал похоронку Семен Кирьяныч уже не в первый раз — третий день таскал ее в кармане. Прочитывал, складывал и снова засовывал в карман. «Как град прошел, повыбивало. Кто работать будет? Как в прорву, нажитое вылетело. Всю пашню запустили».

Нынешней осенью такие мысли стали наведываться к нему все чаще. МТС разваливалась. В районе поговаривали, что придется ее ликвидировать или объединить с другой. Тракторы выходили из строя, и уже никакими силами восстановить их было нельзя, а которые работали, то, как говорится, на честном слове. Бабы калечились. Вчера отвезли в больницу Настю Ветелину. Сунулась в мотор, не побереглась — косы из-под платка упали, и их замотало. Вспомнил о ней и передернул плечами.

Прицепщица, с которой Настя работала, со страху убежала куда-то, и ее не могли найти. Сегодня утром послал за прицепщицей и ждал, когда она явится.

«Вот так. Настя в больнице, трактор стоит. Серафиме похоронку отдай — еще один на день встанет, потом хоть плачь. А слезам нынче никто не верит».

Сдвинул в сторону счеты и взялся за амбарную книгу.

В это самое время и пришла учительница Дольская в своем длиннополом пальто, в беретике и в ботиках. Дольская была из эвакуированных, вот уже второй год ходила в этом наряде, и журавлихинские собаки никак не хотели его принимать, встречали и провожали ее отчаянным лаем.

— Семен Кирьяныч, я к вам.

— Погодь.

Он увидел на крыльце Настину прицепщицу и пома-
нил пальцем.

— Ну-ка иди.

Та шагнула через порог и встала.

— Рассказывай. Только не ври, по порядку.

Девчушка переступила с ноги на ногу и повернулась к Дольской, словно спрашивала, как рассказывать.

— Что, язык проглотила? Молчишь.

— Да нет, я... — она вздохнула и захлопала глазами, пальцами все перебирала поясок застиранного платья. — Я, выехали мы утром, пахать начали. А тут мотор, не знаю даже, заглох. Ну, Настя ремонтировать давай, потом заводить начали. Мыкались, мыкались, а он молчит, мотор. А я, это, заводила. Завели. Настя говорит, что подправить там кого-то надо, залезла, наклонилась от так вот, руками туда. Ветерок дунул и подол полетел, да в мотор прямо замотало. Она заревела, уперлась, я хотела сдернуть и подол вырвала, а у нее ноги соскользнули и головой, косами туда же, опять... Треск только...

Тут девчушка осеклась и снова захлопала глазами.

— А чего убежала?

— Забоялась. Я и сейчас боюсь.

— Иди.

— А?

— Иди, говорю, к трактору. Работать надо. Жди тракториста.

Она растерянно уставилась на него и спиной попятилась к двери, не переставая перебирать пальцами поясок. И вдруг на испуганном лице мелькнула решимость, но Семен Кирьяныч опередил, догадавшись, что она может сказать:

— Иди, иди.

И махнул рукой, словно убирал девчущку из дверного проема.

Она быстро сбежала по ступенькам, побежала и все оглядывалась, собираясь что-то крикнуть, но так и не крикнула.

В конторе стало тихо, лишь щелкали суставы Семена Кирьяныча, когда он садился за стол.

— Чего там у тебя?

Дольская (она все это время молча стояла у стены) не отвечала, смотрела вслед девушке.

— Оглохла? Зачем пришла?

— За дровами. В школе дров нет. Ни в сельсовете, ни в колхозе не дают, а я не хочу, как в прошлом году, ведь с ребятами пилить зимой бревна...

Семен Кирьяныч, перекидывая костяшки счет и думая о чем-то другом, пообещал:

— Будут дрова, привезем.

Дольская подошла к столу и села напротив Семена Кирьяныча. Села так близко, что в ее больших, широко открытых и влажных глазах он увидел маленькое отражение своего лица. Семен Кирьяныч отодвинулся.

— Неужели вы добрые слова забыли?

Спросила тихо, с перерывом после каждого слова, будто переламывала в себе боль.

— Нет у меня таких слов. И вообще — ты за дровами или зачем пришла?

Дольская вздохнула, покачала головой:

— За дровами. Знаете, вас совесть потом будет мучить.

— А в чем я виноват? Что бабы работают? Так войну не я начинал!

— Война-то жестокая, да только мы не должны быть жестокими. Мы добрыми должны быть.

Она по-прежнему смотрела на Семена Кирьяныча своими широко открытыми глазами, прямо, не отводя их в сторону. Семен Кирьяныч отодвинулся еще дальше. Сам не зная почему, он терялся при встречах с этой городской молоденькой учительницей, стараясь скрыть растерянность, «тыкал» ей и разговаривал всегда грубовато. Она словно ничего не замечала. Еще больше терялся Семен Кирьяныч, когда она заводила такие разговоры. И хотя были они очень редкими, он их все помнил. Какое бы, казалось, ей дело до баб? Нет, лезла защищать так настырно, словно сама работала на тракторе, словно ей самой не давал он никакой передышки.

— Понимаете, Семен Кирьяныч, нельзя без конца давить. Они и так делают невозможное, они прекрасно все понимают, у них и так ничего нет, а вы их последнего, что можно дать,— доброго слова лишаете.

— Ступай. Некогда речи разводить. Ступай. Дрова будут.

— Я ни приказывать, ни потребовать от вас не могу. Я только прошу. Очень прошу. Вас боятся, а это страшно, когда человека боятся.

— И ты боишься?

— Боюсь. Только не вас, а за вас боюсь.

Она тихо поднялась и вышла. Семен Кирьяныч встал, шагнул к окну. Дольская брела по пустому энтээсовскому двору и спотыкалась. Он вдруг подумал, что на ней все те же ботинки и все то же длинное пальто, в каких она приехала в первый военный год в Жу-

равлиху. Семен Кирьяныч сам ее и привез. Дело было в конце декабря, морозы заворачивали под сорок. Лошади, привязанные к коновязи на площади у райкома партии, были в белых куржаках, когда они шевелились, сани на промерзлом снегу визгливо, до зубовой ломоты, скрипели. И вот на тебе — в такую морозяку, когда ноги в пимах стынут, разыскивает его в райкоме эта учительница и просит довезти до Журавлихи. А сама в ботиках, в беретике, одной рукой ухо отогревает, в другой держит тощенький баульчик.

— Да куда я тебя повезу? Померзнешь.

— Ничего, я постараюсь, не замерзну.

— Постарается! Ишь ты! А зачем в Журавлиху-то?

— Учительницей назначили. Всех эвакуированных в леспромхоз, а меня в Журавлиху, в школу.

— Ясненько.

Семен Кирьяныч пошел к секретарю и выпросил у него на день тулуп. В этом тулупе и привез в Журавлиху Дольскую.

Она многого не понимала в деревенской жизни, которой никогда не знала, иногда была бестолкова, но никогда не была жалкой. Стоило только взглянуть на ее глаза, чтобы понять — этой женщине ни гордости, ни ума занимать не нужно. И упорства. В ведрах она таскала с речки воду, коромысло держать не умела, и облитые полы длинного пальто покрывались льдом. Вместе с ребятами пилила и колола дрова, топила печку в школе, а когда подписывались на военный заем, принесла тоненькое золотое колечко, видно, единственное ее богатство, какое осталось.

Все это Семен Кирьяныч хорошо знал и поэтому не мог просто-напросто отослать ее подальше, как отослал бы другого. Он хотел ее перебороть, чтобы не смягчала душа после разговоров с ней, когда он начинал всех жалеть. А жалость сейчас ни к чему, каблуком ее давить надо — он в это твердо верил.

Вернулся от окна, сел за свой стол, положил голову на счеты и долго так лежал, не шевелясь.

Потом встал, вышел к своему ходку. И ходок весь день сновал челноком между полями, на которых работали эмтээсовские трактора. Семен Кирьяныч шумел, грозился, если замечал беспорядок, не обращая внимания ни на бабьи матерки, ни на слезы, и, уезжая, долбил свое обычное: «Понятно? Дошло?»

Вечером он вернулся домой. Жил Семен Кирьяныч вдвоем с женой на самом дальнем конце Журавлихи — под высокими тополями стоял небольшой старый пятистенок. В ограде скребли землю несколько ободранных тощих куриц под охраной горделивого петуха в яркой расцветке. Он неторопко, с угла на угол, пересекал ограду, в горле у него сердито бурлило, а налитый кровью глаз косил вбок. Семен Кирьяныч не мог терпеть петуха, который кидался даже на хозяина, еще больше не мог терпеть дурацких, ободранных кур. И все-таки терпел. Из-за жены. Он был одним из тех районных работников, которых, как выносливых коней, посылают туда, где потяжелее. Кормят не ахти как, зато кнут, чтобы подстегнуть, всегда наготове. Кем он только не работал: уполномоченным в райзо, инструктором в райкоме, председателем в сельсовете, даже директором маслобойки, и вот в последние годы досталась Журавлихинская МТС. Все это время, пока мотались по чужим углам, его бездетная жена мечтала обзавестись своим хозяйством, чтобы коровка была с молочком, живность всякая, но не получилось. Обзавелись вот только в Журавлихе курицами да петухом.

Петух косил глаз вбок и крылья уже начал приподнимать, когда вошел хозяин, но напасть не решился, стал пить воду из старого чугунка.

В избе было прохладно и тихо. Семен Кирьяныч снял свои валенки, натянул на ноги носки из собачатины и, не раздеваясь, с крехом, лег на кровать.

Весь мир вечерних деревенских звуков доносился в открытую створку окна, еще не заделанного на зиму, все было разным, но сливалось в одно: мычанье коров, лай собак, скрип калиток, неразборчивые голоса баб, управляющихся по хозяйству, и чей-то тонкий детский крик: «Цыля! Цыля! Куда, дурная, цыля!».

Звуки эти располагали к тому, чтобы думать о чем-нибудь приятном, чтобы укачивало, уносило в сон. Но не укачивало, не уносило, и хотя лежал Семен Кирьяныч тихо, в душе у него все металось. Он спорил с Дольской, спорил, доказывал, по-мужицки грубо и упрямо.

«Ишь ты какая. Выходит, по-твоему, я злыдень, скоро мной, как бабаем, ребятишек пугать станут. А ты спросила, дура ты образованная, хочу ли я таким быть? Да я лучше всех знаю, сколько бабы на себе тянут. Знаю и жалею, только нельзя мне их по головке гладить. Тает человек от жалости, текет все с него. А теперь злость надо иметь, ух, какую злость. Если бы я их жалел да нянькал, разве бы они столько сделали? Знаю, что выше головы заставляю прыгать, и все равно заставляю. А заставь пониже, сразу обессилят. Время нынче такое — никому нет поблажек. Понимаешь ты это, ученая-переученая! Легше всего — сказать. А то не доходит: сделали меня таким, такой я нужен, а не ласковенький. Был бы ласковенький — хлеба бы не видали. Настю разве не жалко, ребятишек ее? Да у меня сердце заходится. Я вот третий день уж похоронку Серафиме таскаю и не отдаю, потому как нельзя. Отдай — какая из нее работница? А клин спяхать надо. Вот и жду, когда спашут, вот и таскаю в кармане, как гранату какую. Она ему еще письма сочиняет, а он лежит, неоплаканный. Да Серафима знать меня потом не захочет, в морду плюнет. И терпеть надо будет. А я разве железный, склеили-то из такого же теста, как всех, разве мне не болит!».

Он представил себе лицо Дольской и с тоской поду-

мал, что она его все равно не поймет. Уверенно подумал. И вслух уже, поднявшись с кровати, обложил ее матом. Но легче не стало. Эта учительница словно пошатала Семена Кирьяныча, и он закачался, железные обручи, которые набивал на себя, расползались. Да и то сказать, у всякой штуки свой срок носки.

Под лавкой, в дальнем углу, он нашарил бутылку самогонки, отыскал на полке стакан и щедро, не меряя, налил.

Жена пришла не одна, с соседкой, они застали его лежащим на полу. Семен Кирьяныч их уже не видел, тыкал пальцем в бумажку и вздрагивал лопатками. Бумажка эта была похоронкой Серафиме.

— Господи, да что же это за чин тебе достался! — горько приговаривала жена, укладывая его на кровати. — За всех терзаешься, а люди... люди они все понимают, и тебя поймут.

Соседка согласно кивала головой.

7

Прошел еще один день. День, в котором все было известно наперед с самого утра. Пшеничная каша, холодное с ночи железо трактора, загонки поперек клина, туда и обратно, туда и обратно. Поблескивали лемежа, надраенные землей, отваливались от них пласты, трескались, и даже когда работницы закрывали глаза, виделись им все тот же клин, все тот же трактор.

После памятно веселой ночи Нюрка совсем помрачнела, враз сникла красивым лицом и даже походка вроде изменилась, ходила теперь, шаркая сапогами. Может, и не враз все это случилось, может, было и раньше, незамеченное, только теперь сильнее бросалось в глаза.

— Да не изводи ты себя. Так и до греха недалеко. Потерпи, Нюра, потерпи.

— Не трожь меня, Серафима, я теперь злая, как собака. Бойся меня. И не лезь.

Так и кончился, не начавшись, этот разговор. Серафима потопталась еще возле плуга и полезла в трактор. Не знала она, что еще сказать Нюрке, какими словами утешить ее.

Труба плюнула сизыми кольцами, и плуг снова ушел в землю. Мотор тянул плохо, а пахота пошла тяжелая, иногда колеса даже пробуксовывали, железные шипы продирали в стерне глубокие борозды. Пристало железо, изработала его земля.

Серафима видела, что девки ее совсем обессилели, и все равно не давала даже махонькой передышки. Она боялась, что если будут пахать вполсилы, то потом все бросят. Она сама бросит. Или сожжет к чертям этот ненавистный трактор, сунет в бак спичку — и гори все синим огнем. А там будь, что будет.

Она встряхивала головой и еще аккуратней вела колесник по твердому краю слежалой за лето пашни. Вспаханного становилось все больше, но даже и теперь, как ни крути, работы оставалось еще на целую неделю.

Косяками уходили на юг журавли и утки. Казалось, что они бегут прочь с этой голодной земли, на которую надвигается длинная морозная зима, с глубоким снегом и дикими метелями. Торопятся, машут и машут без усталости крыльями, подгоняя себя тревожными голосами.

Нюрка подняла голову и проводила взглядом очередной косяк, он быстро растаял в небе. Не осталось следа. Она горько думала, что вот и ее жизнь тоже так растает и не будет следа, ничегошеньки. Так для чего же тогда ходила по этой земле? Ведь было же ей какое-то предназначение. Неужели только и выпала вот эта тяжелая, без просвета, работа? Потряхивало плуг, и она крепче удерживалась за рычаг, поочередно переставляя затекшие от долгой неподвижности ноги. Лемеха отрезали пласты с чуть слышным треском.

Вернулся из деревни Тятя. Он распряг у избушки лошадь, отдал Маруське мешок с харчами и завалил на телегу пустую бочку. Вдруг вспомнил и полез в карман.

— Письмо привез. Хап — и готово.

— Кому? Мне? — Маруська даже присела от удивления.

— Тебе, сказали. На, читай. Военное.

Маруська неуверенно взяла в руки треугольник. Адрес на нем был написан химическим карандашом, буквы расплылись, и она даже поначалу не разобрала своей фамилии. А когда разобрала, поверила, что ей, убежала с письмом в избушку. Каким-то чутьем угадала она, от кого пришло это первое в ее жизни письмо. Ведь не зря же, не зря караулил он ее тогда на речке, не зря сунула она ему тайком платок на проводах. И пусть ничего не было сказано, господи, да в этом ли дело! Вот оно живое, настоящее письмо в руках. Написанное соседом по улице Ильей Матушкиным, братом Серафимы.

«Здравствуй, Мария! С фронтовым приветом к тебе твой бывший сосед Илья Матушкин. Не удивляйся на это письмо. Все ребята с нашего отделения пишут невестам письма и имеют от них личные карточки. А так как я по-серьезному с тобой поговорить не успел, то и пишу только теперь. Ты уже взрослая и понимаешь, что фронтовику нужно теплое слово. А также вышли мне свою карточку. Еще меня наградили медалью, и я вернулся из госпиталя в свою часть и продолжаю бить фашистов. А свою карточку я вышлю попозже, как только будет возможность на нее сфотографироваться. Извини за короткое письмо, бедно у нас с бумагой, и половину листка оторвал я на самокрутку. С низким поклоном Илья Петрович Матушкин».

Маруська читала письмо, и щеки у нее алели, будто невесомым сделалось тело и хотелось побежать, запеть. И не будь на улице Тяти, она обязательно бы побежала

и запела. Песню про синий платочек, о котором помнит солдат и за который бьет врага.

Слова в письме были немного необычные, чудные, даже не верилось, что написал их Илья. Она его помнит задиристым, развеселым. И еще помнит, что, когда его провожали, он целовал всех девок подряд, а ее — нет, потому что была еще не в невестах. Но посмотрел и как-то особенно кивнул ей головой, и она поняла, что нашел уже платок, который сунула ему тайком.

Маруся так долго сидела с письмом и так старательно думала про Илью, что забыла про ужин. Спыхватилась, побежала мыть котел. Когда пришла Серафима с Нюркой, вода еще только закипала.

— Ты что, спала?

— Ой, забылась! Да я сейчас, сейчас, вы только чуток погодите. Я все быстро.

Она побежала вытаскивать сало из мешка и запела. Серафима удивленно оглянулась:

— Тебе что, гостинчик дали?

— Ага. Я письмо получила. Вот оно. Ты меня отпроси потом в Крутоярово съездить, на карточку сняться. Ладно?

— От Ильи, что ли, письмо-то?

Маруся доверчиво вытащила из-за пазухи письмо и подала Серафиме. Та взялась читать, сбоку пристроилась Нюрка. Маруся стояла рядом, смотрела на них и светила. Ей так хотелось, чтобы и они тоже порадовались, чтобы развеселились, как в ту ночь. Но Серафима отдала письмо и сказала только:

— Дай бог, чтоб...

А Нюрка ничего не сказала.

Поспела каша, собрались ужинать и только тут хватились, что Тяти нет. Стали звать. Он появился из бора с полной охапкой опенков. Считали, что они уже отошли, а оказывается, вон еще какие стоят. Тятю хвалили, и он улыбался, ему нравилось, когда о нем вот так

хорошо говорили. Желая еще чем-нибудь удивить, вспомнил, о чем толковали сегодня бабы в МТС:

— А я знаю. Начальнику похоронка пришла Серафиме, а он ее прячет.

Маруся выронила котел с кашей, и она густой лентой вывалилась на землю.

— Ты что, сдурел, Тятя! — Серафима цепко ухватила его за грудки. — Мне не может похоронка прийти, не может! Чучело ты огородное!

Она трясла его изо всех сил, и голова Тяти моталась, дыроватая фуражка свалилась.

— Да погоди! Последнее из него вытряхнешь!

Нюрка оттащила Серафиму и строго спросила у Тяти:

— Опять врешь? Напугать хочешь?

Тятя испуганно и согласно закивал. Он хорошо помнил, как в прошлом году били его на покосе бабы. Тятя решил тогда их напугать и, подъезжая к стану, заорал:

— Похоронки везу! Мно-о-го!

Бабы остолбенели.

— А, трусили! Я хап — и готово.

Выволочку ему тогда дали добрую.

— Убью, холера! Мало тебя бабы возюкали! Тьфу ты, зараза!

Поправляя платок, Серафима выругалась и погрозила Тяте кулаком. Он осторожно отошел в сторону, присел на землю, натягивал свою фуражку и сопел. Тятя одно понял: лучше про это не говорить.

Кое-как Маруся соскребла вываленную кашу, но даже и это не доели. Молча подались к трактору.

8

Соседка Семена Кирьяныча не утерпела и брякнула о похоронке. Слух порхнул по деревне в тот же

вечер. Услышала его и Дольская. Сначала она не поверила хозяйке, у которой стояла на квартире, но так веско убедила:

— Да он все может, злыдень! И не такое выкинет, по себе знаю.

«Как же так? — думала Дольская. — Как же так? Обманывать человека, в таком горе. Старуха, наверное, уже знает, конечно, верит, что жив, а потом... Как потом Архипов будет в глаза им смотреть. Это, наверное, неправда».

Лежали на столе тетрадки, сшитые из старых газет. Их надо было проверять, надо было готовиться назавтра к урокам. А она ни за что не бралась, никак не хотела поверить в услышанное.

За время войны Дольская успела многое увидеть и испытать. В несколько месяцев прошлая жизнь была разломана и разбросана. Из тиши уютной институтской библиотеки, где она просиживала до ночи, работая над диссертацией, от пыльного запаха старых, мудрых книг, от милых родителей, которые не чаяли души в единственной дочери, от умных поклонников ее выкинуло, неожиданно и страшно, на голое осеннее поле, к тяжелой лопате с плохо обстроганной ручкой, к кровавым мозолям, к противотанковому рву. Это было похоже на сон, она ничего не могла сообразить. Потом возвращение домой. Эвакуация, во время которой Дольская потеряла своих родителей. Они оказались в Ташкенте, а она здесь.

И вот в Журавлихе стала приходить в себя. Отсюда, из глухой деревни, вглядываясь в прежнюю свою жизнь, она вдруг с ужасом поняла, что почти тридцать лет жила не так, не так, как нужно было жить. Оказывается, почти за тридцать лет она никому ничего не сделала — ни хорошего, ни плохого. Она всегда думала только о себе: умнее ли других, красивее ли? Даже когда писала диссертацию, думала не о ней, а о себе. Прики-

дывала — что ей эта диссертация даст. И вдруг оказалось, что так жить нельзя. Она поняла это с первых дней в Журавлихе. Если ничего не делать для других, значит забиться в какую-то нору, отгородиться от всех. Но нельзя было ни забиться, ни отгородиться, ведь она каждый день видела перед собой детские глаза, все понимающие и смотревшие по-стариковски устало. Она подставила плечи под общий крест и понесла его.

Утром Дольская отправилась к Семену Кирьянычу. После вчерашней выпивки того еще больше скрючило, он будто усох и казался совсем маленьким за большим, обшарпанным столом. Дольскую поразило его взгляд — тоскливый, растерянный, куда-то мимо нее, в стену. Но Семен Кирьяныч тут же провел ладонью по лицу и холодно сказал:

— Завтра привезут дрова. Я наказал.

— А я по другому поводу, не о дровах. Это правда, что у вас похоронка Серафиме Забаниной и вы ее не отдаете?

Семен Кирьяныч несколько не удивился, ответил спокойно:

— Правда. Слушай, а какое тебе до этого дело? Ты кто?

— Человек.

— А я злыдень! Замолчь. Садись.

В какой-то момент неприкрытая злоба мелькнула в этом плоском лице, избитом оспой, в этих глубоко упря-
танных холодных глазах, та злоба, с которой человек совладать уже не в силах. Послушалась, села. Семен Кирьяныч, подергивая плечами, перегнулся через стол:

— Ты думаешь, я озверел. Да? Говори — думаешь?

— Я уверена. Вы сами потом раскаетесь.

— Так вот знай: мне уже никакое наказание теперь не страшное. Самого себя перестал бояться. Нету сильнее наказания, когда тут все выгорело. А ты не болтай лишнего. Враки все про похоронку, поняла!? Враки!

Баба сдуру сболтнула, а другие раззвонили. Не было похоронки. Не бы-ло! Ты это поняла?

— Я тогда сама пойду и скажу им правду.

— Не скажешь, у тебя духу не хватит. Увидишь и побоишься. А сейчас со мной поедешь.

— Куда?

— К Забаниным. Я буду говорить со старухой, а ты подтвердишь. Ты учительница, она тебе больше поверит. И не вздумай чего-нибудь брякнуть.

Жесткая сила исходила от Семена Кирьяныча, скручивала Дольскую, она уставала с ним спорить, точнее, начинала понимать, что переубедить его не сумеет.

Семен Кирьяныч поднялся, пошел, даже не оглянувшись на Дольскую. Забрался в ходок и подвинулся, освобождая ей место. Она подобрала полы длинного пальто и примостилась рядом. Конь резко вымахнул со двора МТС и побежал по улице.

Забанины жили на самом краю деревни. Большой крестовый дом за последние годы обветшал и скособочился. Старая крыша подернулась зеленью, в заплоте светили дыры, хлев завалился. По скрипучему крыльцу Дольская следом за Семеном Кирьянычем поднялась в темные сенки, в избу. Огромная русская печь с полатами, просторная кузь, открытый голбец, и оттуда, из темноты, доносилось немощное кряхтенье. На лавке, в короткой рубашонке, которая не закрывала даже пупка, сидел парнишка. Одна рука у него была замотана грязной тряпкой, а другой он неловко чистил маленькую картовочку в мундире и так был занят, что не заметил пришедших. Картовочка выскользнула и покати-лась по лавке, парнишка проворно поймал ее и, кому-то подражая, вздохнул:

— Зизня, ты, зизня, мать твою так...

Семен Кирьяныч кашлянул и поздоровался. Парнишка оглянулся, быстро сунул картовочку в рот, жевал и смотрел.

— А бабка где?

— Тут я, тут. О господи, выкарабкаться не могу. Кто там? — донеслось из голбца, глухо, как из бочки.

— Я, Архипов.

— Щас я, щас, погоди, дай только выбраться, я щас...

Из голбца показалась растрепанная голова с серыми космами, костистые, мослаковатые руки уцепились за плаху, напряглись, и старуха до пояса вылезла.

— Дай я в глаза тебе гляну, дай я в них плюну, злыдень ты эдакий. Под такой пыткой держать взялся.

— Погодь, вылезь сначала.

Старуха вылезла, выпрямилась, она оказалась высокого роста, угловатая, будто вырубленная. Убрала со лба серые космы.

— Правда? Иль нет?

— Вот и пришел сказать, что вранье. Одна баба брякнула сдуру, ну и понесли.

— Так она ж говорит, своими глазами...— тело у старухи странно, изнутри дернулось, она качнулась вперед.— Не ври только. А то меня на второй раз не хватит.

— Не веришь мне, вот учительница подтвердит.

Старуха перевела взгляд на Дольскую, та, словно падая с обрыва, отвела глаза в сторону, через силу выдавила:

— Да. Правда.

— О-ох! — старуха согнулась, ковыльнула до лавки и опустилась на нее рядом с парнишкой, который дожевывал картовочку.— О-ох!

— Ну, ладно, пошли мы.

Семен Кирьяныч первым толкнулся в дверь и необычно быстро выскочил за ограду. Подождал Дольскую, цепко ухватил ее за плечо и, выкатив свои всегда упрятанные глаза, зашептал, брызгая слюной:

— А ты знаешь, сколько теперь таких парнишек,

знаешь, что они жрать хотят, хлеба им надо! А без зяби, на которой Серафима, не будет хлеба. Помрет кто-то. Хоть теперь поняла?

Дольская отступила от него на шаг, потом еще, запнулась и пошла, не оглядываясь, полы длинного пальто раскидывались по сторонам, и чья-то собака остервенело лаяла ей вслед.

Семен Кирьяныч забрался в ходок, со всей силы хлестнул коня кнутом, и тот метнулся, чуть не с места в галоп. Только застукали колеса, окованные железом. Он ехал домой. У ограды бросил вожжи, даже не привязав коня, чуть не бегом, припадая сразу на обе ноги, кинулся в сарайку. Вышел оттуда с топором. В окне мелькнуло испуганное лицо жены, хлопнули двери в сенках, она выскочила и встала столбом, прикрыв рот ладонью. Хотелось ей закричать, но за всю их семейную жизнь она ни разу не перечила мужу.

Семен Кирьяныч, зажав в одной руке топор, неуклюже гонялся по ограде за петухом. Петух косил красным глазом, подпускал его совсем близко, потом делал большой скачок в сторону и, не распуская крыльев, быстро мчался в другой конец ограды, там останавливался и снова ждал. Всполошенные куры бестолково металась, роняя перья и поднимая пыль. Семен Кирьяныч уже хрипел и в очередной раз, подкараулив петуха, не стал растопыривать руки, а упал на него плашмя и подмял. Свободное крыло отчаянно молотило по земле. Перехватив его, Семен Кирьяныч потащил петуха к чурке. Глухо стукнул топор, пыль запузырилась от крови, голова петуха отлетела к старому чугунку с водой и, не мигая, смотрела красным глазом. Еще Семен Кирьяныч хватал без разбора куриц, стучал топор, и всякий раз жена вздрагивала. Последняя курица со страху одолела заплот, упала в огороде, перевернулась и бросилась так бежать, что из-под ног вылетали струйки пыли. Семен Кирьяныч кинул топор в сторону,

вытер пот с побелевшего лица и диковым взглядом обвел ограду. Только теперь заметил жену, ее ладонь, которой она зажимала рот, испуганные и без того всегда боязливые глаза. Буркнул:

— Забаниным отнесешь. Всех!

И поплелся к своему ходку.

9

Дольская опаматовалась на задах огородов. Бессильно опустилась на какую-то чурку и заплакала, по-бабьи подвывая. Собака, которая было увязалась за ней, остановилась неподалеку, гавкнула, недоуменно покрутила головой и затрусила обратно.

С выкопанных огородов тянул осенний запах увядшей растительности и раскопанной земли. Прохладный ветерок крался от реки, сегодня, без солнца, она была темной, наморщенной и увалы за ней были серыми, нахохленными, почти голые, стыли на них березы. Во всем слышалась и виделась тихость засыпающей земли, все шло по своему, раз и навсегда утвержденному кругу: лето сменяла осень, осень — зима, облетали деревья, чтобы принять на себя снег, поддержать его на тугих ветках и сбросить, а потом снова зазеленеть — и ничто не могло измениться.

«Почему мы каждый раз меняемся? — спрашивала саму себя Дольская. — Почему мы сами себе наступаем на горло и сами же себя оправдываем? Да, война, да, кругом жестокость, но ведь если сломаем самих себя и найдем оправдание, хотя бы раз, значит, можем повторить и в другой, и в десятый. А потом все равно спросится, обязательно спросится, если не с нас, то с наших детей. Сегодня мы свою жестокость оправдываем войной, завтра другими обстоятельствами, а потом мы найдем оправдание всему, для себя каждый найдет. Как же жить, господи? Зачем, зачем я сказала неправ-

ду! Тридцать лет не знала этих женщин, этого начальника. Даже не подозревала, что они живут. Читала, слышала, что есть колхозы, есть МТС, убирают урожай, ударники, вредители — все это от меня было дальше, чем Гомер, чем Спарта. Богинь знала лучше, чем этих баб. Какая ерунда, кажется, что схожу с ума. Нет, все-таки спрошу саму себя — почему так? Признайся, удобно было, уютно, под папиным крылышком. В нашей тихой квартире — я так радовалась, когда узнала, что она полностью сохранилась — собирались мои друзья по институту, приятные, умные, вели разговоры, желая перещеголять друг друга эрудицией, без конца разговоры, реки слов. Ведь не старались даже доказать что-то, только показывали. Только слова. И они были для нас главным. А я, если бы не случайность при эвакуации, кушала бы среднеазиатские яблочки рядом с папой и радовалась, что квартира наша цела. И все бы прошло стороной, если не стороной, то рядышком, но все равно не задело бы. А ведь есть такие, мимо кого пройдет».

Она как наяву видела некоторых своих друзей. И еще. Высокие окна старинной квартиры, внизу, как в колодце, маленький московский дворик с липами и беседками. По вечерам отец зажигает зеленую лампу, торжественно ставит ее посередине стола, и мягкий, колеблющийся свет не достает до углов. Она подает гостям ликер в крошечных рюмочках, чай и видит, как бы со стороны, саму себя — умную, еще молодую, с хорошими, впитанными с детства, манерами. Отец, гордясь ею, то и дело обращается:

— Дочка, рассуди нас с молодым человеком...

Выслушав их, изложит свое мнение, а свое мнение, как она считала, у нее есть по всем вопросам. Сколько угодно могла говорить о древней Греции, об английской литературе, о средневековье и о великих музыкантах — она была очень образованна. А в итоге — какую пользу принесли эти разговоры, что она сделала для других?

И неужели, вернувшись в прежнюю жизнь, она все это забудет? Дольская оглянулась, словно стряхивала с себя наваждение. По-прежнему серела и морщилась река, такими же нахохленными стояли увалы, и солнце едва заметно мигало сквозь густую небесную морось, не пробиваясь через нее и не доходя до земли. По пустой, будто вымершей деревенской улице шла старуха с пустыми ведрами на коромысле. Дольская поднялась, быстро отряхнула пальто и берегом заспешила к себе домой.

«И если уж так, то будь вместе со всеми, раздели с ними все. Возьми на свои плечи то, что положено». Думая об этом, она все убыстряла и убыстряла шаги.

Хозяйка, хоть и удивилась ее просьбе, но виду не подавала, сказала, что пашет Серафима на Дальнем клине, и толково объяснила, как туда добраться.

Словно в тумане, Дольская провела уроки и сразу отправилась на Дальний клин.

10

Нет, не зря снилось Маруське июльское, в цветах, поле. Распустилось оно в эту осеннюю хмарь, среди угрюмых, потемневших от дождя сосен, среди распаханного наполовину клина, который, казалось, вытянул последние силы. И утром, проснувшись, Маруська вдруг с радостью, с незнакомой ей уверенностью подумала, что день будет хорошим и другие дни тоже будут хорошими, и еще будут совсем счастливые, когда придут новые письма. Даже предстоящая работа ее не пугала.

Она мигом развела костер, мигом сварила кашу и, не переставая, пела песню про синий платочек, про ночную пору и про бойца. Маруська ослепла от своего первого большого счастья и не замечала ни хмурого утра, ни заботы на лице Серафимы, ни шаркающей Нюркиной походки.

— А ну-ка, помолчи,— вдруг строго прикрикнула Серафима.— Расчирикалась.

— Не надо, не трогай ее,— заступилась Нюрка.— Пусть хоть одной хорошо будет.

Маруся никак не могла понять — в чем она провинилась. Почему строжится Серафима и почему Нюрка потерянно отводит глаза и старается не смотреть на нее? Она не могла понять, а они ей не говорили. И поэтому даже обрадовалась, когда осталась одна возле избушки, теперь она могла делать все, что хотелось, могла бегать и прыгать, петь сколько угодно, ее никто не одернет.

Нарвала листьев папоротника, выбирая поменьше, сплела себе венок, надела его на грязные, давно не мытые волосы и, не видя своего лица, все равно казалась самой себе красивой. Ее ощущения, ее мысли кружились в большом, пестром хороводе, не останавливаясь. Временами ей даже казалось, что она и сама летит над всей этой неуютной землей, летит вместе с птичьими косяками в небе, туда, где все по-другому.

Полет этот оборвал заглухший мотор трактора. Серафима махала рукой — значит, кончилось горючее. Маруся схватила ведро, бросилась к бочке. Лигроину там оставалось меньше половины, и когда она бочку наклонила, он не полился. Маруся ухватилась одной рукой за дно и приподняла ее. Ноги дрожали, живот словно стягивало от тяжести, а тягучий лигроин лился медленно, едва-едва, не спеша наполнял ведро. Наконец-то полное, надо было отдышаться перед вторым, но Серафима машет рукой. Маруся снова ухватилась за дно бочки, в животе словно порвалось, во рту сразу стало сухо, поплыли в глазах круги, но она удержала бочку, пока не налила полное ведро. Выпрямилась и тут же присела от резкой, согнувшей ее боли. Думала, что не выпрямится, но боль сразу ушла, словно не было. Маруся дотащила ведро до трактора и немного пе-



редохла, пока заливали лигроин в бак. Пошла обратно и теперь, когда не видела сумрачных лиц Серафимы и Нюрки, к ней снова вернулась радость, она достала из-за пазухи письмо, забила в угол на нарах и стала его перечитывать.

Все дальше забиралась в глубь клина пахота. Среди разваленной земли дрожала алым флагом, неизвестно когда и вымахнувшая, молодая осинка. Все, что лезло из бора на клин, безжалостно запахивалось, а вот осинку почему-то не трогали. Объезжали, оставляя маленький островок твердой земли. Она светила посреди черной пахоты и посреди серого дня. Вздрагивала, но все еще не осыпала листьев. И с какого бы края ни пахали, с какой загонки ни глянуть — всегда она была, трепетная, на виду. Всякий раз, натываясь на осинку взглядом, Нюрка ставила рядом Маруську, с ее наивной, смешной радостью, и никак не могла поставить себя. Завидовала. В эти дни она окончательно смирилась, поверила самой себе — не будет ничего больше. Все лучшее, что ей выпало, осталось там, позади, за плечами. И теперь в равнодушное железо, в жирно блестящую землю уходит, словно в сухой песок вода, ее молодость, уходит и высыхает.

Длинные загонки; еще длинней день и множество разных мыслей приходит в голову, о многом успеваешь подумать, пока не свяжет тело усталость, пока не вышибет все одна только мысль — об отдыхе. А прямая спина Серафимы, кажется, никогда, ни от чего не согнется.

От пшеничной каши без сала в последние дни стала мучить икота. С ней было трудно справиться. Дергала и дергала изнутри, доводя до злости. Слава богу, застучал мотор. Пора делать перетяжку. Можно хлебнуть воды, вдруг поможет избавиться от этого противного клыктанья?

Серафима слезла с трактора, села на землю и при-

валилась спиной к колесу. Тело, привыкшее уже к постоянной дрожи, теперь отдыхало, расслаблялось каждой жилочкой и особенно сильно хотелось спать. Закрывать глаза и спать, прямо вот здесь, у трактора, на прохладной и мягкой пашне. Серафима рывком поднялась и, привычно поддернув рукава старого пиджака, полезла в горячий мотор, воняющий керосиновым перегаром.

И опять после короткой передышки длинные, бесконечные в своей однообразности круги.

11

Пришла ночь. Густая, как деготь, темнота залила клин. Только макушки сосен прорезались едва заметно — все остальное скрылось, даже сама земля под ногами. А трактор не затихал, полз, почти на ощупь, боясь оторваться от желтого круга «летучей мыши», с которой впереди шла Нюрка. Фонарь вздрагивал от неровных шагов, и желтое пятно скакало то в стороны, то вперед. Пахота в неровном,двигающемся свете блестела. Казалось, что там, всего в трех метрах, где иссякал желтый круг, земля сходилась с небом.

Плуг повело в сторону, он задержался, запрыгал, сопротивляясь, Маруська едва успела рвануть рычаг на себя. Это, оказывается, трактор повело в сторону — Серафима задремала. Маруська закричала, схватила комок земли и кинула. Трактор дрогнул и выпрямился, пошел ровно. Серафима — а глаза у нее закрывались, хоть спички вставляй — то и дело прикусывала губы, чтобы не уснуть. Внутри у нее они были сплошь в старых шишках. Цепко ухватывая глазами, где кончается пахота, чтобы не съехать на нее, затянула песню:

Распрягайте, хлопцы, коней,
Тай лягайте спочивать...

И спереди и сзади враз облегченно вздохнули Ма-

руська с Нюркой. Если Серафима запела, значит, скоро отдых. Осталось теперь только по порядку перебрать «Катюшу», «Коробушку» и «Хаз-Булат удалой». С радостью подхватили:

А я пиду в сад зеленый,
В сад криничинку копать!

Эту песню и услышала Дольская, когда в конце концов, проплутав в темноте, выбралась к избушке. Ноги с непривычки гудели, и она присела, нащупав руками порог, оперлась о дверь избушки. Глаза щипало от пота. Стянула с головы берет, расстегнула пальто и долго сидела так, не шевелясь, удивленная. Что угодно готовилась она услышать здесь, но только не песню, которую не заглушал даже трактор. Залихватски, с бесшабашной удалью летела она сквозь темноту, стучалась в глухую стену бора, и становилось в ночи не так одиноко и потерянно. Дольская хотела подняться и пойти к трактору, но сидела по-прежнему, слушая песню.

Трактор замолк, голоса утихли, и ночь еще гуще, плотнее привалилась к земле. Вскоре послышались медленные, усталые шаги, невнятный говор. Дольская поднялась и двинулась навстречу.

— Ой, кто там? — взвизгнула Марусяка. — Ой, идет кто-то.

— Кто здесь? Ну-ка не балуй! — прикрикнула Серафима.

— Здравствуйте! Гостя к вам.

— Никак училка? Точно! И впрямь гостя так гостя.

Нюрка чиркнула спичкой, и фонарь бросил за спину Дольской желтый круг.

— Проходи, вечерять с нами.

— Да нет, я не хочу, спасибо.

— Проходи, потом будешь отказываться.

Серафима пропустила ее вперед себя в избушку,

придержала за рукав, пока Нюрка не занесла фонарь.

Кашу ели холодную, никому не хотелось разогревать — только бы до нар добраться. Дольская смотрела на этих изработавшихся людей, которые молча стучали ложками по дну котла, и у нее сжималось горло, трудно было дышать.

— А вправду, пришла-то зачем?

Этот вопрос Серафимы застал врасплох. Некоторое время никак не могла собраться с ответом:

— Я сводки последние прочитала, с фронта, вот хочу рассказать.

И по тому, как они сразу перестали есть, Дольская поняла, что угадала в точку: неторопливо, с присущей ей обстоятельностью стала пересказывать сводки. Память у нее была хорошая, и она помнила даже цифры.

— Вон аж куда наши мужики зашли, — со вздохом вставила Серафима. — Кого убьют, вот горько на чужбине-то.

— А дома так слаще? — усмехнулась Нюрка.

— Может, и не слаще, а все равно... Пишут там, нет — когда кончится?

— Скоро. И вам недолго осталось мучиться. Скоро победа. Новая жизнь будет, еще лучше, чем до войны. Понимаете, мне кажется, что люди теперь заживут по-другому, лучше станут, красивей.

— Ни хрена не будет, — бухнула Нюрка.

— Почему? Почему не будет?

— Да потому. Мужиков сколько вернется? Раз, два и обчелся. У нас вон Тятя за мужика. Тебе хорошо говорить, ты вещички собрала и дунула. А нам тут всю поруху поднимать. Кому? Опять бабам. — Нюрка с шумом, глубоко втянула воздух, закричала: — На мою жизнь так пало, что не будет света белого! Проживу — и не жила! За что? Перед кем так согрешила? А ты мне — сказочки!

— Нюра, да ты что?

— Погоди, Серафима, не встревай! Зачем ерунду-то городишь. Отчитала свое и ладно, спасибо.

— Ну-ка, помолчи, накиннулась на человека. Зря ты так, Нюра. Ей-то, думаешь, легко, из родного дому — да в нашу глушь. От книжек — да дрова колоть. С детишками вместе беду делит. Все мы теперь сестры, роднее родных. Зря не кричи... А с нашим хлебом мужики вон куда дошли. Я вот только из-за этого и держусь, вроде совсем кончилась, а вспомню и держусь. Думаю, пока хлеб посылаю, Иван там живой будет. И Маруськин хлеб до Илюхи дойдет, и твой до кого-нибудь. Пока мы тут — они там. Свалимся — и они упадут. Не пропала твоя жизнь, Нюра, не пропала, дура ты этакая. Еще придет время, гордиться будешь, что так жила.

Дольская смотрела на их лица, неярко освещенные фонарем, и никак не могла собраться с мыслями. Хотелось что-то сказать, но нужных слов не было. А те, которые приходили на ум, казались беспомощными... И вдруг, как бы расчищая перед собой пространство, повела рукой и прерывающимся голосом стала рассказывать, как она жила раньше, как копала противотанковые рвы в холодном осеннем поле, как в поездах, забитых до отказа, ехала в эвакуацию. Рассказывала о том, как ей хочется хоть что-то сделать для них, о своих спорах с Семеном Кирьянычем и о том, что она не убедила его, наоборот, он победил ее. Она исповедовалась, и те, кто сидел в избушке, ее понимали. Понимали, как родного человека. Они и были родными в эту ночь, все четверо.

Рано утром Дольская попрощалась и по той же дороге направилась в деревню. Уже издалека оглянулась, увидела три фигуры возле трактора, посередине большого клина. То ли девки почувствовали ее взгляд, то ли еще как, но они разом обернулись и замахали руками. Она не видела теперь их лиц, но верила, знала,

что они улыбаются ей. Всю ночь Дольская не спала, ворочалась на нарах, но сказать о похоронке Серафиме так и не решилась.

12

И снова время проворачивалось медленно-медленно. День не кончался. Хмурое небо опустело — редко проскользнит запоздалый клин, и не было вокруг больше никакого звука, кроме тракторного треска.

Уже давно Маруся должна была сменить Нюрку на плуге, но до сих пор не показывалась. Подъехал Тятя, он остановился возле избушки, толкнулся в дверь, но скоро выбежал обратно. Закричал, размахивая руками. Серафима, почуя неладное, остановила трактор, зашпешила, тяжело проваливаясь в пахоте. «Господи, господи,—повторяла одно и то же.—Что там еще, что там еще? Господи».

Тятя, вытаращив глаза, кричал:

— Маруся болеет!

Дверь в избушке отхлобыстнута настежь. Маруся забила в угол на нарах, лицо у нее было высохшим, белым.

— Что?! Что еще случилось?!

Она чуть приоткрыла глаза и сжалась сильнее.

— Разогнуться не могу. Спину пересекло, живот огнем горит... Вчера бочку поднимала, у меня как порвалось, а сяди не разогнуться.

Серафима уперлась лбом в косяк.

— Надсадилась,—Нюрка вдруг шепотом стала материться.

Серафима негромко скомандовала:

— Хватит, давай одевай ее.

— Тятя, на плуг пойдешь. И смотри, не дури у меня. А ты Маруську отвезешь сейчас домой.

Нюрка кошкой подскочила к ней, уцепилась за плечи:

— Да что ты за человек! Вам дай с начальником волю, вы всех людей поугробите! Лошадям и то отдых дают. Подыхать на этом проклятом клине собралась.

— Как проснется, так отвезешь. И назад сразу.

— В гробу я твой клин видела! Поняла ты, нет?! В гробу! И тебя тоже! Всех! Поняла?

Нюрка, оскалившись, трясла Серафиму за плечи, и в глазах у нее, как у пьяного мужика, была дикая злоба.

А бедный Тятя ничего не понимал, испугался, он еще ни разу не видел такой злобы, даже когда его били бабы, они были не такими, и он, приседая, закричал:

— Милые! Не деритесь! Не надо драться!

По-детски беспомощным был его голос, Нюрка отпустила Серафиму и отскочила в сторону.

— Прямо сейчас отвезешь. Пошли, Тятя.

Падера свалилась на Журавлиху внезапно. Упруго, напористо загудела и пошла рвать сложенную в кучи ботву картошки, хлопала ставнями, столбами закручивала пыль на дороге, загоняла куда попало испуганно кудахтающих кур. На полях бросали работу, бежали укрывать зерно на току, плотнее захлопывали амбары и дома, загоняли скотину. Падера набирала силу, ворочалась, поддавая направо и налево, вот уже кое-где полетели с крыш гнилые доски, враз, до конца, облысели деревенские тополя, и с хряском, обнажив желтую середину столбов, завалилась ограда у МТС, трухлявая солома пылью разлетелась со скотных дворов, и торчали теперь одни жерди, как худые ребра. Свет померк. Вечерняя темнота упала на землю, и еще страшней был в этой темноте разгул задуревшей падеры.

По крыше дома бухало, как бревном, каталось по ограде, дребезжало старое ведро. И всякий раз, когда бухало, ресницы у Маруськи вздрагивали, она перево-

дила взгляд с матери на Нюрку и все искала что-то руками на тряпичном одеяле. Руки метались и не могли остановиться. Тихо и глухо было в горнице, яростно и грохотно за стенами.

— Мама, ты не плачь. Это ведь пройдет. Нюра, правда, пройдет? Ну скажи,—она с надеждой, испуганно смотрела на нее.

— Пройдет, все пройдет. Ты усни, спи.

Нюрка поднялась, мать Маруськи проводила ее до кухни. И там, пряча глаза, словно была виновата, сказала:

— Серафиме — похоронка. Соседка своими глазами у Кирьяныча видела. Скажи ей. Все равно правду узнает.

Нюрка выскочила на улицу. Конь, привязанный у заплота, дергал головой, испуганно пятился, и при каждом порыве ветра на нем дыбом вставала грива. Мелкий песок хлестал по глазам. Нюрка запрыгнула в телегу, пошире расставила ноги и, раскрутив над головой конец вожжей, перетянула по крупу коня. Тот, ошалелый от страха, подстегнутый, рванул в намет, заколотилась на кочках телега. По деревне, как привидение, летела растрепанная Нюрка и все ждала, что вот перевернется телега, и она полетит с нее на землю, хряснется — и все будет кончено. Но конь вынесся из деревни в поле, на знакомую дорогу, где ветер был еще сильнее, крепче и глуше запели копыта по сухой земле.

А с запада, будто с той, с самой большой грозы, поползли не видные в потемках громоздкие тучи. Притащили с собой через реки и горы уже выцветшую, но все еще жуткую в своих отблесках, изломанную молнию. Она полыхнула над Журавлихой, распластала темноту, упала отвесно с неба на землю и затерялась где-то в жнивье, в березовых колках, затерялась, но долго еще стоял после нее в глазах яркий свет, резал и пугал. Следом за молнией рыкнул гром, редкий сентябрь-

ский гром, медленно раскатился по небу, стал глоснуть. Рык еще не затерялся в тучах, как полетели вниз сломанные ветром струи дождя. Они хлестали со всех сторон, больно и резко, как сухой снег в морозную метель.

Возле избушки Нюрка остановила коня и выпала из телеги. Лежала в холодной грязи, зажав ладонями лицо, а дождь колотил и колотил сверху, словно хотел вбить в землю и смешать с ней.

Надо было подняться, надо было сделать несколько шагов до избушки, толкнуть дверь, переступить через сонного Тятю, сказать Серафиме. И она поднялась, толкнула дверь, запнулась за Тятю, подрезанным голосом звывала:

— Серафима! Сестра моя родная! Не сберегла! Погиб Иван! П-о-огиб!

13

Окруженный бабами Семен Кирьяныч стоял у крыльца конторы и отдавал распоряжения на день. Еще валялись на земле сорванные с крыши доски, ветер еще гонял по двору клочки сена и тихо поскрипывала на сваленном заборе наполовину оторванная жердь. Березы на дальних увалах были совсем голыми.

Шумевшие бабы вдруг смолкли, Семен Кирьяныч поднял голову и тоже осекся на полуслове. По двору, согнувшись, шла Серафима. Бабы перед ней тихо расступились. Семен Кирьяныч стащил с потной головы фуражку и дернулся от тихого голоса:

— Дай похоронку.

Никак не расстегивалась пуговица на кармане кителя, он не мог захватить ее пальцами, а Серафима стояла с протянутой рукой и ждала. Тогда рванул изо всех сил, выдрал пуговицу с мясом, достал мятую казенную бумажку, отдал. Та крепкость, которая всегда была в

нем, уходила. Дрогнули колени, тяжелая боль медленно обняла поясницу и стиснула так, что он не удержался и упал на колени.

— Бабы, простите меня, простите! Не я ведь этого хотел! Не я! Не хотел я!

Не читая, Серафима сжала в кулаке похоронку, едва разомкнула сухие, потрескавшиеся губы:

— Встань, Семен Кирьяныч, поднимись, виноватых тут нет.

Она повернулась и пошла по двору МТС, выбираясь на дорогу, которая вела к Дальнему клину.

Они пахали день, еще день, еще и еще, прихватывая длинные темные ночи. Плуг пластовал траву у подножия бора, резал корни, вывертывая их наверх. Вот уже весь Дальний клин покрывался зябью, он словно раздался в плечах, распрямился, и сосны, в который раз, бессильно отступили, недовольно шумя тяжелыми лапами. Покойно, уверенно лежал клин, на самой середине его дрожала осинка, облетевшая до последнего листика.

Когда трактор выехал из своей последней борозды, он заглох. Серафима, надсажаясь, крутила рукоятку, а Нюрка брела от плуга и говорила:

— Плюнь, хрен с ним. Потом заведем.

Серафима уперлась руками в радиатор, дышала керсиновым перегаром, чувствовала, как дрожат у нее колени от напряжения. Последние силы ушли в это холодное, ненавистное железо. Она откачнулась от мотора, пьяно ступила несколько шагов, ткнулась в борозду и выпрямила ноги. Нюрка присела рядом, обняла ее, и они сразу уснули.

ОТСЮДА ВИДНО ДАЛЕКО

1

Макушка весны в Сибири — конец апреля.

И весна гуляла, гуляла, сердешная, на широкую ногу, не скупилась на тепло и солнце, осыпала деревья пузатыми почками, распирало эти почки, давило их изнутри, вот-вот брызнут яркие, влажные листья. И все вокруг наливалось, набирало свежий ядреный цвет, все тянулось вверх, к солнцу.

В светлый день на высокое крыльцо крутояровского военкомата вышел Санька Матушкин, сунул в карман пиджака повестку, глубоко затянулся дурманным воздухом и огляделся. Весна! Дороги подсохли и кое-где пылили уже, огороды, еще не вспаханные, потеряли аспидную черноту, какую оставлял после себя талый снег, посерели, подсушенные солнцем. Невдалеке, за огородами, выскочила из берегов речушка, размахнулась по лугу до самого бора, который сразу, за какие-то дни, омолодился и посветлел.

Санька еще раз вздохнул и, топая ногами, дурашливо пропел:

— Были мы вчера сугубо штатскими... Эх!

— Э-та что такое?

Следом за ним вышел молоденький прапорщик, который только что выдавал ему повестку. Он сводил жиденькие белесые брови и, наверное, думал, что очень строг, но щеки были налиты таким румянцем, губы были такими пухлыми, широконый нос был так задорно поддернут кверху, что казалось — кто-то пошутил и ради шутки надел на парнишку форму, да еще погоны с двумя звездочками.

— Эт-та что такое?

Санька тряхнул кудрями — нисколько он не испугался, — прищурил глаза и спросил:

— А что?

— Не положено. Патлы сегодня же обстриги. А то я сам перед отправкой, овечьими ножницами.

— Есть, товарищ прапорщик, можно идтить?

— Можно Дуньку на гражданке и то по согласию. А в армии говорят: разрешите.

Прапорщик разулыбался, довольный, щеки поползли, и лицо стало совсем круглым. Санька быстро сбежал с крыльца и, кривляясь, подался, будто бы строевым, по тротуару.

— Разрешите?! Тоже мне, умняга! Сам еще...

Так и не придумал, как пообидней обозвать прапорщика, а дойдя до угла и свернув на центральную улицу райцентра Крутоярово, забыл о нем, потому что ясно вдруг и просто дошло — три дня, а там новая жизнь. Знал ведь, готовился, но все казалось, что далеко, не скоро, а теперь вскинулся, рядом. Три дня всего и осталось, да и какие три дня, два — сегодня уже не в счет.

А погода стояла, такая добрая погода, прямо брала за грудки и требовала — вынь душу, отдай радостному веселью.

2

Илья Петрович и Марья Степановна, родители Санькины, сидели рядышком на крылечке и ждали сына. Он пинком отхлестнул калитку и громко объявил:

— Здорово, мать, дурак вернулся!

Достал из кармана повестку и шлепнул ее на перила. Отец молчал, а мать сунула лицо в фартук. Санька в семье был последним, самым любимым и балованным, поэтому вокруг его проводов в армию разговоров, хлопот и слез хоть отбавляй, с излишком.

— Ну вот, какого размокла, не на войну ить... — Илья Петрович поглядывал то на жену, то на сына.

Полез в карман за папиросами.— От, едришкина хать, совсем старики, подскребыша в армию. Чего стоишь, рассказывай.

Санька, испытывая неловкость от материных слез, осекся, хотел сказать ей что-то, но не сказал, боясь потерять тот разгулистый настрой, с каким он ехал домой. Но и молча стоять тоже было неудобно.

— В армию забирают, чего рассказывать!

И пошел в избу. В него точно бес вселился. Включил на полную катушку магнитофон, достал новые брюки, прошитые вдоль и поперек густой строчкой, рубаху, испечатанную нерусскими словами, расчесал свои кудри, глянул в зеркало — нормально! — схватил со стены гитару и, закатывая глаза, будто играл в клубе на танцах, заглушил магнитофон:

— ...Первый тайм мы уже отыграли.

Марья Степановна проплакалась, вытерла лицо фартуком и голосом, в котором еще слышалось дрожание, заговорила:

— Ну, отец, вечер ить собирать завтра надо.

— Соберем, все уж есть.

— Господи, никака холера его не берет, хоть бы седи помолчал. И поет-то, все орать надо.

— Пусть порезвится, там много воли не дадут. Да, подскребыша-то в армию, слышь, мать.

— Не глуха, поди. А вот кого расселись? Готовиться надо.

Заговорив, Марья Степановна встряхнулась, поднялась со ступеньки и обрадованная, что нашла дело, что можно позабыться в нем, засуетилась, закомандовала, и в доме уже не умолкал ее громкий, крикливый голос.

Заглох магнитофон, и вышел Санька. Высокий, в нарядной рубахе, кудри вились чуть не до плеч, и совсем не похож на отца, пока не приглядишься, а как приглядишься — вылезет порода Матушкиных, ни с кем не

спутаешь, ни рубаха, ни кудри не собьют с толку: широкоскулый, узкоглазый, чистый чалдон, а засмеется, одни щелочки только, и походка матушкинская — вразвалку.

У Марьи Степановны, как только его увидела, снова глаза на мокрое место, но удержалась и вдогонку:

— Долго не шастай, а то опять до утра! Хоть дома побудь!

Улица была пустая, день клонился к вечеру, к долгому прохладному вечеру, когда далеко разносится каждый звук, когда пахнет нагретой землей, приторными тополиными почками и горьким дымом костров на огородах, их алые всполохи вскидываются в безветрии то там, то тут, вскидываются и опадают, подлизывая последние объёды и назем, вывезенные еще по зиме из пригонов; едучий дым тянется невысоко над заборами, то и дело припадая к земле. Догорают костры, жар забирается в середину, прячется, и сверху остывает пепел.

Вся эта тихость и все это спокойствие не нравилось Саньке, ему хотелось шума, громких разговоров, музыки, сегодня душа у него должна веселиться, развернуться, чтобы потом еще долго можно было вспоминать.

Навстречу шли знакомые девчонки, Санька подмигнул им:

— Ох вы, лапочки мои, в последний раз сыграем и споем.

Он встал посреди деревянного тротуара, вскинул голову, правой ногой, будто копытом, забил о доски и, уже откровенно дурачась, громко закричал:

— Иго-го-го!

Девчонки хихикали.

Из своей ограды это видел старик Матвеич:

— В плуг бы тебя, жеребца.

— Запрягут, не расстраивайся. Пошли, девки, в клуб!

А в клубе были танцы.

Пестрило в глазах от разноцветья платьев и руба-

шек, гудело в ушах от двух громкоговорителей, из которых летел надсадный голос певца, всхлипы гитар и удары барабана, громкие звуки заполняли весь зал, все уголки в нем, не оставляя ни кусочка свободного пространства. Колыхалась толпа, вскидывала руки, пристукивала ногами, и Санька, едва только войдя в зал, тряхнул головой, чтобы пошире разметались кудри, двинулся, слегка приседая и почти незаметно пошевеливая плечами, но так, что, казалось, вся его фигура, будто бескостная, движется и танцует — плечи, ноги, голова — все слаженно и заученно. Ему уступали место.

Певец смолк, барабан выбил последнюю дробь и громкоговорители пусто зашипели.

Саньку уже давно ждали. Обычно на танцах в клубе играл свой оркестр, но сегодня не хватало гитары-соло, то есть его. Он поднялся на сцену, привычно перекинул через плечо широкий ремень гитары, подмигнул парням, пробежал пальцами по тугим струнам. Санька был счастлив. Нашел глазами Надюху Сахину, и она помахала ему из зала рукой. И все это — празднично — нарядная толпа, легкий взмах Надюхиной руки, прохладные струны, послушно пляшущие под пальцами, свой собственный голос, забирающийся все выше, — это поднимало его, как на крутой волне, и несло.

Играл оркестр, своим чередом шли танцы, Санька ловил Надюхин взгляд, она ему улыбалась, и эта улыбка тянула к себе. Он оставил гитару, спустился в зал, подсел к Надюхе.

— Послезавтра гвардейцу приступать к службе. Поздравь.

— Послезавтра?

Она растерянно улыбнулась, хотела дотронуться до его плеча, но тут же отдернула руку, постеснялась. Синие глаза в ободках подведенных тушью ресниц стали влажными, Санька глянул в них и растерялся, сбился с наторенной дорожки своей привычной болтовни. И за-

молчал. Тревожило что-то и сбивало с веселого разгула. За все время знакомства он в первый раз видел Надюхины глаза влажными. Саньку звали на сцену играть, но он отмахивался. Они сидели в уголке и молчали. Точно так же они молчали в первый раз, но тогда все было по-другому.

Председатель колхоза, которого Санька возил на газике, послал его в райцентр. Ранняя весна, дороги раскисли, снег взялся водой, и в райцентр посылали только тех, кто на честном слове мог проехать тридцать километров по сплошной луже. Санька мог. Он выжимал из своего газика все, а когда мотор уже начинал захлебываться, бормотал:

— Ниче-е-го, на мой век железа хватит!

Потом заковыристо ругался и поминал недобрым словом того молодого специалиста, за которым его послали. В райцентре он дождался на вокзале поезда, ходил по перрону и кричал:

— Сахина! Есть Сахина? Кто зоотехник из техникума!?

— Из вениковязального? — ехидно спрашивал какой-то остряк.

— Иди ты! Сахина!

Потом ему надоело кричать, сел в газик, чертыхался, не зная, что делать.

— Извините, вы не в Журавлиху?

Сгибаясь от тяжести большого чемодана, к машине подходила невысокая девчонка, чемодан был так тяжел, что она даже морщилась и на покрасневшем лице резко выделялись растерянные синие глаза. Она запнулась и чуть не упала.

— На свадьбу собралась? Еле тащишь!

— Нет, на работу. В колхоз.

— Как фамилия?

— Сахина. А зачем?

— А за-а-чем?! — передразнил Санька и вылез из кабины. — Она еще спрашивает! Я уж охрип здесь, пока кричал! За тобой приехал.

— За мной?

— Председатель обрадовался — молодой специалист приехал. Погнал в такую кашу. Раньше бы глянул — добиралась бы на попутках.

— Почему?

— А потому, — разговаривая, Санька затолкал в кабину чемодан, захлопнул дверцу, повернулся к девчонке, мгновенно преобразился, выдвинул живот, откинул назад голову и скрипучим голосом, передразнивая председателя, забурчал:

— Разве животноводство у нас поднимется! С кем поднимать? Был один путевый зоотехник — в райком забрали, другого привезли — в райисполком, остались одни девчонки и те замуж повыскакивали, прости меня охальника, подряд беременны.

Девчонка неожиданно рассмеялась:

— А разве это плохо?

— Елки-палки, вот специалист, тебя, может, сразу в роддом?

На эту шутку девчонка не откликнулась, замолчала и села в кабину. Он попытался заговорить с ней, но она будто воды в рот набрала.

«Ух ты, подруга дней моих суровых, корчится еще. Была нужда», — Санька так подумал и успокоился, а газик уже выскользнул за последние дома райцентра, и впереди широкой грязной лентой, посередине которой еще белели кучи растаявшего снега, показалась дорога. Газик мотало, юзило, то он подскакивал вверх, то с хлюпаньем спускался вниз и на полу проступала вода, но Санька упрямо давил на газ — «только бы свечи не забрызгало» — и выезжал. Смеркалось. Он включил фары, и в это время, когда свет кинулся далеко вперед, газик как-то тихо, а может это только показалось,

съехал в колдобину, мотор захлестнуло водой, и свет с дороги исчез.

Ноги было некуда поставить — в кабине хлюпало. В тишине раздавалось только это негромкое хлюпанье да журчала вода, выплеснутая колесами из колеи и теперь скатывающаяся назад, под уклон.

— Приехали! Вылезай. До морковкиного заговенья торчать будем!

Санька распалялся и костерил, как только мог, дорогу, председателя, поминал молодых специалистов, от которых толку ни на грош, кладовщика из Сельхозтехники, который всучил ему на прошлой неделе старые поршни. И вдруг Санька осекся. Девчонка хихикала. Зажимала ладошкой рот, искоса зыркала на него и хихикала. Не переставая, спросила:

— Кушать будешь?

— Чего-о?

— Кушать будешь? У меня есть, я в поезде еще купила.

Она достала полиэтиленовую сумку, в которой лежали хлеб, колбаса и два вареных яйца, расстелила у себя на коленях газету. Держать ее было неудобно, так как ноги пришлось поднять с пола и упереть в приемник, чтобы не замочить, но девчонка держала, полы пальто разъехались, и два круглых колена, обтянутых капроновыми чулками, светились в сумерках.

— Ешь.

Санька, стараясь не глядеть на колени, брал нарезанную ломтиками колбасу и жевал.

— Хлеб бери.

Он послушно брал хлеб.

Скоро на газете остались одни крошки и яичная скорлупа.

— А нам долго сидеть?

— Трактора или попутной будем ждать,— буркнул Санька.

— Ну, я тогда посплю, ладно? Умучилась в поезде. Девчонка доверчиво прислонилась к его плечу и затихла. Санька оторопело сидел, не шевелясь, боялся шевелиться. В первый раз прислоняли ему вот так голову к плечу и затихали.

Девчонка неслышно дышала, и он чувствовал на своем подбородке ее теплое дыхание. От напряжения сводило шею, но он сидел, прямой, будто проглотил кол, и смотрел вперед, на темную, без единого огонька, дорогу.

А над дорогой, над полем, над колками лежала густая ночь, подмораживало, доносились неясные хрусты, в высоком небе высеивались яркие, крупные звезды — к холоду; поднялась луна, запоблескивал снег в ложбине, еще не думающий таять, только подернутый гладкой коркой, он будто лоснился. Незаметно перестали слышаться похрустывания, журчание воды, шлепки подтаявших комков снега, незаметно вокруг установилась тишина, она лежала во всей ночи, окружала плотно полузатопленный газик, затерянный посередине длинной дороги, людей, которые в нем сидели, и дальше уходила по полю, к темным колкам, и вверх — к звездам. В этой тишине пошел мелкий, сухой, почти невидный снег, было слышно, как падает он на брезентовый тент газика. Санька почувствовал, что ему трудно дышать.

И это чувство словно вернулось к нему сейчас, на танцах, в этом пестром, гремящем зале. Уже не хотелось петь, играть на гитаре. Глянул на Надюху, она растерянно улыбалась, рассматривала носки своих белых туфель и была сейчас со своими мыслями не здесь, а где-то, будто ушла от Саньки, исчезла для него, и он уже морщился от всей колготни, которая крутилась вокруг и которая его уже не устраивала, хотелось куда-то ехать, лететь, не зная, зачем и к чему, и к кому — но главное, чтобы не потерять ту веселую разгульность, что была с ним весь вечер, до этих минут. Он никогда ни над чем долго не думал, и обычно первое же, что

приходило в голову, получало одобрение — годится.

— Слышь, я машину возьму, поедем, прокатимся.

— Сань, заругают.

— Не бойсь. Жди за универмагом, я мигом.

Перед колхозным гаражом — маленькая дощатая будка, в которой спит с одиннадцати вечера до семи утра сторож Матвеич — низенький и шебутной, особенно спросонья, но добрый старик. Санька едва его растолкал.

— Ох, жеребец, игогокаешь. Это по-человечески или как, людей по ночам будоражить? Я тебе Ванька-встанька, да? Мне отдых положен или нет?

— Матвеич, уймись! В армию ухожу, все. Будешь дрыхнуть сколько влезет — никто будить не станет.

— А и давно пора. Моя воля, я бы всех долгогривых туда, на исправление.

— Ну открой гараж.

— А разрешенья-то нету! Председатель как наказал: без моей записки этому охламону машину не давай. — Глаза у Матвеича, припухлые ото сна, подозрительно прищурились, и он оглядел Саньку с ног до головы. — Ты, случаем, не того, не под турахом?

— Дыхнуть, что ли?

— Ладно, только вертайся по-быстрому, иначе выдадут на примочку обоим. Забирают-то когда?

— Два дня осталось.

— Пойдем открою, ты уж только не напрокудь.

— Матвеич, не стони.

Тот, словно не слышал, следуя за своими мыслями, продолжал:

— Прокатись, прокатись, глянь хорошенько, соскочишь потом ночью, хватать-похватать, а дом далеко. По себе знаю.

Наконец Матвеич открыл увесистый замок, распахнул двери гаража, и Санька, вытащив из кармана ключи, с которыми никогда не расставался, полез в кабину.

— Не напрокудь смотри! — сквозь шум мотора донесся голос Матвеича, но Санька его не слушал. Свет фар дугой мелькнул по широкой поляне, заваленной старыми железяками и снятыми с тракторов кабинами, скатился вниз по дороге к мосту, снова поднялся, пронесся по пустой улице и выхватил из темноты на углу универмага тоненькую фигурку Надюхи в синем плаще. Фигурка ее была одинока и беззащитна по сравнению с серой глыбой универмага, в ярком свете это было особенно заметно.

Санька лихо подкатил, распахнул дверцу и включил приемник.

— А куда мы, Саня?

— Вдоль по Питерской, пока не остановят.

Взревел мотор, мелькнули дома по обеим сторонам улицы, и за околицей, на трассе, ударил в ветровое стекло тугой встречный ветер с поля, захлопал слабо натянутым брезентовым тентом. Колотила по днищу кузова мелкая щебенка, шелестели колеса, и, подгоняя Саньку, вливая в него яростный азарт быстрой езды, звучала в кабине музыка, она набирала высоту, звуки закручивались громче, быстрее, еще быстрее, и вот уже не догонишь их, и не хочется отставать. Летела музыка, летел газик по пустой трассе, летела Надюха, испуганно сжимаясь на сиденье, летел Санька, чуть пригнув голову, цепко держась за руль, летело по бокам невидное в ночи озимое поле, летело высокое небо, все дальше, дальше; невозможно было сказать даже слова, не успевалось ни о чем подумать, только одно — стремительная гонка.

Они неслись, пока Санька не устал от напряжения и не съехал с трассы. Подрулил к колку и заглушил мотор. У него еще вздрагивали руки.

— Ну как, молодой специалист, жива?

— Жива. Сань, а ночь-то какая!

Надюха засмеялась. Смеялась она необычно, каки-

ми-то волнами, и чем выше, тем тоньше становился голосок, звенел, заливался колокольчиком. Санька, когда она смеялась, только улыбался, он боялся нарушить звон этого колокольчика. Улыбался и теперь, а когда она замолкла, спросил:

— Над чем хохочешь?

— А просто так, Сань, охота, вот и смеюсь. Разве плохо, а?

— Хорошо. Меня в армию, а ты хохочешь.

— Дурак. И почему вы все, мужики, такие норовистые, чуть что — на дыбки.

— Откуда про всех-то знаешь?

— Про тебя, Сань, знаю. А нам ведь, бабам, только одного узнать — и про других все известно. Я вот думала: и чего в тебе нашла? Ну на гитаре играешь, рубаху в петухах носишь — первый парень. Так ведь таких-то хоть пруд пруди. А дело не в этом. Ты ведь щетишься, как ерш, а я одна вижу, что за колючками, и понимаю, и одна тебя могу сберечь. И чую, что намаяюсь с тобой, но судьба, видно, у нас такая, у баб.

Превосходство, понимание чего-то неизвестного Саньке, слышалось в словах Надюхи, особенно его поражало слово «бабы» и та простота, с какой она его выговаривала.

— Ты-то какая баба?

— Сань, не буду же я век порхать. Вот вернешься, и все девичество кончится. Буду детишек нянчить. Я, знаешь, ненормальная, честное слово. Домой иду с фермы мимо детсада, останавлиюсь и гляжу. Мне прямо каждую мордочку целовать, тискать хочется, прямо никакого удержу нет. Я помню, мамка братишку принесла из роддома, а он лежит, махонький такой, в платочке, и улыбается. Гляну на него и захожусь. У нас тоже будет. Ты не думай, я тебя дождусь, я смогу...— Надюха вздохнула.— А как бы хорошо, если б никуда не уезжать, никаких армий, ни двух лет, человек ведь для

чего живет? Для радости. А расставаться — какая радость?

Санька теперь сидел молча, обжимая пальцами холодную баранку, уже не осмеливался протянуть руки к Надюхе и обнять ее, а ведь думал об этом с того времени, как выбежал из клуба. И Надюха, поняв это, сама потянулась к нему, сама прикоснулась холодно-ватыми губами к щеке. Руки его оказались на тоненьких плечах, накрытых синим плащом, почуяли тепло даже через ткань и то, как эти плечи покорно дрогнули и наклонились вперед. Все ушло, все отодвинулось. Забываясь, подошли уже вплотную к той черте, за которую они еще ни разу не перешагивали. В какой-то миг успели подумать об этом и расплели руки.

Не сговариваясь, они вышли из кабины и пошли рядышком вдоль невысоких берез, ощущая на своих лицах влажное дыхание ветра из глубины колка, где еще лежал в низине и едва заметно белел снег. Легко, спокойно шагалось в этой, совсем не страшной, ночи, ведь стояла одна из тех весенних ночей, когда темнота не пугает, когда не верится, что с тобой может случиться плохое. Хотелось только одного: чтобы по-прежнему ровно лежало под ногами поле. Оно лежало ровно до самого края и обратно, до самой машины.

Назад Санька вел газик тихо-тихо, объезжая все ухабы, Надюха, прикрыв глаза, прижималась головой к его плечу.

На востоке уже светлело, редела, будто просеянная, темнота, и ярче, четче виднелись теперь деревья лесополосы. Все освобождалось от черноты, приобретало свой обычный, дневной вид, и совсем ненужными казались фонари в деревне, блеклые в наступающем свете утра.

Они расстались, когда всю светало, и не боялись, что кто-то может их увидеть. Надюха ушла, а Санька долго еще сидел в машине. Скрипнула калитка, звякну-

ла защелка в дверях. Простучали в сенках каблучки. Стало тихо.

С Матвеичем, когда Санька загнал машину, присели на единственную ступеньку избушки и закурили.

— Ну как, с Надюхой-то помиловался?

— Ты откуда знаешь?

— Э, парень, я все знаю. Ты вот пока катался, тут мать приходила, боится, чтобы ты не натворил чего.

— Правда?

— Нет, нарочно. Девка, конечно, понятно, дело молодое, а мать-то зачем забывать? Мог и посидеть вечер. Она вот бегает, боится, а тебе трын-трава.

— Матвеич, ты чего? Я что, маленький?

— Не маленький, мужик уж. Вот и делай по-мужицки. Про мать забывать...— ладно, иди домой, ждут, поди.

Он затоптал папиросу ободранным носком кирзового сапога и полез в будку, горбя свою маленькую, худую спину.

Санька долго шел до дома, то и дело останавливался, оглядывался. Над розовой кромкой бора угадывалась чуточная макушка солнца, помигивали еще неяркие блестки на окнах, раздавались скрип дверей, звяканье крючков на калитках, вдруг выстрелами прозвучали первые хлопки трактора, заведенного на соседней улице, а потом слились в одну сплошную очередь, и она подрезала все остальные звуки. Над речкой поднимался туман, накатывал волнами и захлестывал берег, заплоты огородов, ближние дома. Санька свернул в переулок и направился в этот туман, окутанный им, он шагал вдоль берега, вдыхая густую влагу, и не мог надышаться. Было Саньке непривычно тревожно и беспокойно.

3

Поднялось над Журавлихой апрельское солнце. В ограде и в доме у Матушкиных не умолкал гром-

кий голос Марьи Степановны. Он обычно прорезался рано утром и затихал только к вечеру. Марья Степановна шумела на всех: на пакостливую кошку, которая залезла на покрывало и наоставляла там волос, на Илью Петровича, который не припас смолевого полена на растопку, на корову, которая не ко времени вздумала обмахиваться хвостом, и хохоряшки, присохшие на самом кончике, звякали по подойнику. Она была твердо уверена: только закрой рот, все в доме пойдет прахом.

Раньше, когда ребятишки были маленькими, особенно доставалось им, хотя и росли они не хулиганистые, учителя всегда их хвалили. Однажды молодой директор школы, вежливый такой, обходительный, попросил ее на родительском собрании:

— Мария Степановна, поделитесь опытом, как вы детей воспитываете, какими методами пользуетесь.

— Пользуюсь-то? На-а, гребушиной.

— Чем, чем? — не понял директор.

— Почти что матом, — подсказали ему.

— Шибко-то я не ругаюсь, а так, для порядку.

— Ну, а может, еще по-другому?

— А никак больше, этого хватает.

После того собрания ее уже не просили поделиться опытом.

С ребятишками она и вправду не знала греха, Санька вот только не совсем в старших пошел, но тут уж сами виноваты — подразбаловали. Ближе к старости сильней всех жалеть начинаешь. Дети у нее рождались трудно: в войну, девчонкой еще, надорвалась на работе и долго не беременела. Сколько слез источила, пока не затяжелела первым — Василием. Порадоваться не успела, как началась настоящая мука: рвало, да по два-три раза в день, а потом уж, в конце самом, начали ноги пухнуть — страшно смотреть. Кое-как разродилась. Лежала в больнице и зарок дала — больше не буду. Но потом все забылось и еще раз надумала. Принесла двой-

ню: Ванюшку с Николаем. Этими ходила легко, зато рожала двое суток, не чаяла уж в живых остаться. А когда им по году исполнилось, оба заболели, и Ванюшка умер.

Последнего, Саньку, родила уж под сорок лет и тоже не ладно — через живот вынимали.

Теперь оба старшие поженились, своих детей имеют, Василий на агронома выучился, Николай на тракторе, тоже учится в институте.

Марья Степановна с трудом разогнула затекшую спину, поднялась из-под коровы, отставила подойник в сторону и огляделась.

Утро занималось теплое, растворился под солнцем туман, поблескивала за огородами река, а за ней ослепительно начинало зеленеть широкое поле, за ним грозились крутые увалы, густо утыканные молодым березником, на их склонах, изрезанных ручьями, будто проплешины, серели обвалы глины. Небо над увалами было чистое, солнце над ними яркое.

В доме топились большая печка, камелек и летняя кухня. Три столбика дыма ровнехонько поднимались вверх, но невысоко от земли таяли в воздухе, пахло горелой смолой и сытным варевом. Валентина, жена Николая, бегала от одной печки к другой, крошила лук, резала мясо, чистила рыбу — торопилась. Гостей, когда посчитали, оказалось многовато. Но и по-другому нельзя: тот сват, тот брат да еще молодежи целая куча. Три комнаты у Матушкиных были небольшие, и поэтому Илья Петрович решил столы вынести в ограду:

— Тут и поплясать есть где, и воздух вольный, а в избе мужики по разу закурят и никого не увидишь.

Четыре стола составили в один, стульев не хватило, Илья Петрович притащил две плахи, их застелили половиками и положили концами на чурки.

Поспать Саньке вволю не дали. Да и какой тут сон, когда Марья Степановна ни на минуту не утихала, в

ответ ей что-то сердито бурчал Илья Петрович, а Валентина так гремела чугунами и кастрюлями, что каждый раз кошка испуганно шмыгала под печку.

На крыльце Санька сладко потянулся и увидел, что пришли старшие братья. Когда они были рядом, их похужесть становилась особенно заметной. По очереди поздоровались с Санькой.

— Давай-ка сюда табуретку! — Николай хитро засмеялся и вытащил из кармана машинку, пощелкал ей. — Красоту будем наводить.

— Да ну вас, завтра подстригусь, лысым, что ли, сегодня.

— А как же, — ухмыльнулся Василий. — А то не поверят, что в армию. Под нуль вот эти лохмы — и половина солдата уже есть.

Санька попытался сбежать, но братья разом перехватили его, крепко тиснули, усадили прямо на крыльце, и Николай, отведя руку, пощелкал машинкой, потом запустил ее в Санькины кудри и прогнал посередине широкую полосу, от шеи до лба. Санька почувал, что голове стало прохладно.

— Чего держите, все равно теперь до конца. Давай стриги.

Василий отпустил его плечи, а Николай сноровисто взялся за работу. Ошметки русых кудрей густо устилали крыльцо.

— Ого! Мать, ты это собери, после ему носки свяжешь, как раз хватит.

Наконец Николай шлепнул Саньку по затылку.

— Готово!

Тот схватился за голову, и под ладонями она показалась ему с непривычки совсем маленькой, ей было холодно. Санька испытывал такое же чувство незащищенности и смущения, какое он испытал, когда стоял голый, в военкомате перед комиссией, а женщина-врач заставляла его то нагибаться, то приседать.

Он побежал в избу, схватил зеркало. На него смотрел растерянный парнишка, с оттопыренными ушами, уши были белыми, а шея уже успела загореть и все это придавало ему смешной, неказистый вид. Махнул рукой и пошел на крыльцо.

— Ну, садись, братка, покурим.

Они сели; Илья Петрович, увидев сыновей вместе, бросил свои дела и тоже подошел, примостился рядом. Все четверо первое время молча попыхивали сигаретами.

— Так что же, ребятишки, получается. Получается, я старик совсем. Пока Санька здесь, я вроде и молодым себя считал, а теперь что — третьего внука ждать и на печку? Дела, едришкина хать. А, кажись, сам вчера еще уходил. Это в каком, в сорок третьем меня взяли? Восемнадцати еще не стукнуло. Помню, пригнали в Новосибирск, в баню сводили, как положено, обмундировку выдали, построили, а старшина обошел, поглядел. Ну, говорит, и войско прибыло. Да как крайнего пихнет, мы, как горох, на землю: кого, пацаны еще, вот такие, да и сила откуда — в колхозе работу за мужиков ломали, а жрать нечего.

Нечаянное воспоминание отца словно подтолкнуло братьев, и они наперебой стали вспоминать армейские байки. Санька слушал и время от времени все трогал свою стриженую голову, которая шершавила ладони.

— А это у нас москвич один был, все не везло ему, — засмеялся Николай. — Раз по тревоге подняли, ну, все выскочили на плац, построились. Слышу, сержант матерится шепотом, оглядываюсь, а он москвича кроет. Тот понять ничего не может, я поначалу тоже не разобрался — вроде все взял: автомат, под сумки, лопатка, бушлат на нем, шапка, а пониже глянул — он в кальсонах, брюки в суматохе надеть забыл.

— Санька, смотри в кальсонах не выскочи.

— Теперь что, по два года служат. Оглядеться не

успеет — домой уже. Я четыре на флоте отбухал, вот это служба, понимаю. Под конец с закрытыми глазами по кораблю бегал.

— Ты вот что, сынок, перво-наперво сержанта держись. До взводного далеко, до ротного — еще дальше, а сержант первый начальник.

— Правильно, не в струю полезешь, будешь день и ночь полы драить.

— Э, братуха, да ты никак нос повесил? Что, сердчишко-то щипет?

Санька и вправду задумался. Разговор, который вели братья и отец, не доходил до него, думалось о Надюхе, о вчерашней ночи. Вставал в памяти темный колокол, свет, прыгающий по дороге, мягкие, податливые губы, маленькая фигурка в синем плаще возле универмага.

— Чего молчишь? — спросил отец. — На тебя вроде и не похоже, сроду за словом в карман не лазил.

— А чего говорить-то? — Санька развел руками. — Сижу вот, слушаю.

— Мотай на ус, может, и пригодится.

— А вообще-то все это ерунда. Два года отслужить — не велика беда. Главное, чтобы заваруха не началась.

— Ну, запели! Никола, ты лучше расскажи, как вам в госпиталь пиво возили.

— Да я уж рассказывал.

— Ну, еще разок, пусть Санька учится.

— Расскажи, послушаем.

— В госпитале машина была, сто тридцатый ЗИЛ, за продуктами в город ездила. У нее ж два бензобака, вот мы с шофером дотолковались, взяли один кипятком ошпарили, промыли как следует, чин-чинарем. Ну, и поехали. Машина стоит, двое продукты грузят, а третий пиво в бак таскает. Народ хохочет: у солдат машина на пиве ездит. Недели полторы возили, пока начальнику госпиталя кто-то не накапал. Прихлопнули это дело.

— А вот у нас еще случай был на корабле...

— И надолго вы тут расселись? Делать как будто нечего! Мы с Валентиной пластаемся, а они балабонят сидят!

— Тише, мать, тише. Говори, что делать.

Марья Степановна мигом нашла всем работу, кроме Саньки:

— А ты поспи иди, всю ночь ить прошлялся.

— Ладно уж.

Санька вытащил провода и взялся устанавливать на углу завалинки магнитофон.

4

В те утренние часы, когда вставало солнце и светлела округа, когда над речкой и над берегами лежал туман, когда людям особенно глубоко дышится в теплых постелях, Надюхе приснился сон. Потом, вскочив, она его не могла как следует вспомнить. Все было перепутано, смешано, столкано: какой-то дым скрывал Саньку, из этого дыма были видны только его руки, он тянул их и вроде что-то кричал, но голос не доходил. Она понимала, что ее зовет, к ней тянет руки сквозь черные лохмы дыма, но не могла сделать и шага, не двигались ноги. А Санька совсем исчезал, и рук уже не было видно. Надюха рванулась и побежала, закричала и вскочила на кровати.

Светлым-светло было в комнате. Она осторожно, еще вздрагивая всем телом, опустила ноги на прохладный пол и долго так сидела, схватив у горла ворот ночной рубашки.

С этим страхом, который цепко держал и не отпускал ее, Надюха умывалась, одевалась и завтракала, ходила в магазин, разговаривала с подружками, попадавшими навстречу. А когда возвращалась назад, ноги сами понесли ее мимо дома, к переулку, где жили Матуш-

кины. Но до него не дошла, повернула обратно. Постеснялась.

Надо было ждать вечера. Надюха достала любимое, в синий горошек, платье и стала собираться. Она всегда делала все не торопясь, обстоятельно, даже сейчас, прежде чем гладить платье, аккуратно осмотрела его со всех сторон, нашла махонькое пятнышко на подоле, вычистила. Расстелила на столе покрывало, положила платье, включила утюг. Но все делала, думая совершенно о другом, даже не думала, а только повторяла про себя, будто оцепенев: «К чему все это? Зачем?»

Она забыла про утюг и подошла к окну. По земле, в чисто прибранном садике, ходил черный скворец и склевывал что-то, приподнимал голову, оглядывался. Скворцу на этой земле, с которой он питался, все было просто и ясно. Деревья над ним, солнце над деревьями, скворешник на тополе. Вырастит птенцов, улетит в положенное время, в положенное время вернется назад. Надюха глядела на скворца, а он, перескакивая, продвигался по садику ближе к окну и теперь, наверное, видел ее, но не пугался, подскакивал все ближе. Надюха сходила на кухню и принесла ему крошек, бросила к тополю, скворец клюнул одну, другую, а потом чисто начал их подбирать.

В комнате вдруг разом, резко и вонюче, запахло паленым, Надюха кинулась к столу, схватила утюг. На платье, прямо на подоле, выгорела большая дыра, жаром прихватило и покрывало. Надюха выключила утюг и, больше уже не сдерживая себя, упала плашмя на стол и в голос заплакала.

5

К пяти часам стали собираться гости. Первыми явились Санькины дружки и с ними девчонки. Сразу же, не садясь еще за стол, устроили тан-

цы. Скакали посреди ограды, вскрикивали, хлопали в ладоши и будто забыли, зачем они сюда пришли. Санька только успевал менять пленки на магнитофоне, а сам украдкой поглядывал на калитку — ждал Надюху.

Первой из родни пришла Серафима Петровна, старшая сестра отца. Это была высокая, костистая старуха, с длинными руками, которые заканчивались широкими, как лопаты, ладонями, и совсем-совсем седая. Серафима Петровна ходила вот уже какой год на все проводы в армию в Журавлихе, сидела обычно где-нибудь в уголке стола, тихо и незаметно, но потом — каждый раз повторялось одно и то же — начинала рыдать по своему Алексею.

Единственный сын ее, так мечтавший стать кадровым офицером, погиб несколько лет назад, погиб глупо, нелепо, в катастрофе. Серафиму Петровну перестали после этого приглашать на проводы, но она приходила сама, незваная, а выпроводить ее ни у кого не хватало духа.

Она двинулась между танцующими, глядя в землю, и видом своим чуть было не расстроила все танцы, но тут густо стали подходить другие гости, Серафима Петровна затерялась среди них.

Напоследок заявился Матвеич со своей старой гармошкой. Он придерживал ее одной рукой, а другой, степенно обходя всех мужиков, здоровался. По такому случаю он был одет в новый пиджак и кепку; сдвинутая на затылок, она придавала ему ухарский вид.

В Журавлихе, наверное, одна гармошка только и осталась у Матвеича, забыли уж, когда на них играли, и молодежь между собой подняла старика на смех.

Надюхи так и не было.

После долгих приглашений Ильи Петровича, подталкивая вперед друг друга, все стали рассаживаться. Бестолковый, невнятный говор стоял над столом.

— Ну, давайте по махонькой за нашего солдатика, чтоб службу нес как следует, чтоб домой быстрее вер-

тался. Счастливой дороги, короче.—Илья Петрович, к своему удивлению, вдруг заметил, что рука у него чуть дрожит, а голос осел.

Санька застеснялся своей стриженной головы, когда на него разом все поглядели, и, стараясь, чтобы не заметили этого, одним махом опрокинул свою рюмку, закашлялся. Николай, который сидел рядом, дернул его за штанину.

— Ты потише, а то окосеешь, вот матери радость будет.

— Сам знаю,—огрызнулся Санька.

— Вот и смотри.

Вскоре голоса стали громче, непонятней, кое-кто уже встал из-за стола, потом как-то незаметно молодежь оказалась на одном конце, а гости постарше — на другом. Илья Петрович хозяйничал, стараясь, чтобы все были довольны, Марья Степановна и Валентина сбились с ног, вытаскивая одно угощение за другим. Старики пытались затянуть песню, но ничего не вышло — все заглушал магнитофон.

А Надюхи так и не было.

Девчонки наперебой приглашали Саньку танцевать, он не отказывался, танцевал, молол всякую ерунду, на которую был мастер, и никак не мог отвести взгляд от калитки. Уже подумывал незаметно скрыться, но как тут скроешься, когда вся гулянка вокруг тебя вертится?! Еще приложился к водке, и оттого, что не приходила Надюха, оттого, что он вот завтра уедет, а они все, кто здесь сидит, будут заниматься обычными делами, жить, как прежде, оттого, что ему два года не знать уже такой жизни, поднималась жалость к себе и хотелось...

Сам Санька не знал, чего ему хотелось, будто на острых гвоздях крутился и муть какая-то поднималась с души.

Песня у стариков не ладилась, только затянут, возьмут вроде, понесут дальше, но тут же голоса падают, вразнобой и пристыженно глохнут. А магнитофон играл, и молодежь плясала.

— Да выключите эту визжалку, дайте хоть спеть по-человечески!

Санька громко закричал:

— А у вас тоже музыка, вон у Матвеича. Пусть играет. Матвеич, ну-ка дерни!

Матвеич не откликнулся, повесив голову, он хлебал уху, и на лице у него блуждала странная улыбка. Хлебал быстро, словно был голоден, горбился и воротник нового пиджака, топорщась, налезал ему на затылок. Серафима Петровна опустила платок со своей страшно седой головы и легонько тряхнула Матвеича за плечо, тот вздрогнул и даже выронил ложку от неожиданности.

— Слышь, ты ту сыграй, которую Алешке играл на проводах. Я ее до ся помню. Сыграй.

Оглянулся, неопределенно махнул рукой в сторону.

— Не, слушай, для меня, потихоньку, я, глядишь, и вспомню.

Матвеич еще раз оглянулся, поднял с земли гармошонку, перекинул через плечо до блеска натертый ремень, посидел, раздумывая, и вдруг с ходу рванул мехи. Гармошка будто всхлипнула, но тут же переборола себя, и гордая, тревожная мелодия приподнялась над столом, потом выше, еще выше, становилась горькой и пронзительной, как прощальный плач. Недаром она и называлась так — «Прощание славянки». Играл Матвеич, откинув голову и закрыв глаза, будто не хотел никого и ничего видеть, хотел только слушать свою музыку, от которой чаще и больней билось сердце. Невольно замолкали разговоры, и уже раздражающе ненужным был полуженный голос певца с магнитофонной ленты. Николай перегнулся через стол и выключил магнито-

фон. Пары, которые танцевали, распадались и расходились. Все замолчали.

Гармошка набрала силу и пела чисто, громко, вселяя в людей гордость, печаль и тревогу — все вместе.

На лбу у Матвеича выступили капельки пота, они тяжелели и скатывались по глубоким морщинам, но Матвеич играл, рвал гармошку, яростно пытаясь что-то доказать. Пригнула белую голову к столу Серафима Петровна, сжалась и губы сцепила, но не выдержала, и рыдание вырвалось все-таки, и после этого, уже не сдерживаясь, она заголосила, медленно поднялась со скамейки и, спотыкаясь, будто били ее изнутри всхлипы, направилась к крыльцу, поднялась на него и плотно закрыла за собой дверь. Замолчала и музыка. Матвеич вытер ладонью лоб, щеки, потом насухо вытер ладонь о штаны, снова рванул гармошку. И сразу взвился чей-то девичий голосок:

Ты Подгорна, ты Подгорна,
Широкая улица,
По тебе никто не ходит:
Ни петух, ни курица!

Такой неожиданной была эта перемена, что Санька, до этого сидевший на скамейке, будто его приклеили, сначала даже ничего не понял. А другие голоса уже подхватили:

Если курица пройдет,
То петух с ума сойдет.

И тут все ожили, будто проснулись, пустились в пляс, одна частушка хлеще другой звенели в ограде, и словно не сидели несколько минут назад, оцепенелые, слушая музыку Матвеича, словно не слышали, как голосила Серафима Петровна, которая, наверное, и сейчас плакала в избе о своем Алексее и обо всех своих несчастьях, каких ей на долгом веку выпало целое беремья.

Саньку словно толкнуло в бок, он резко оглянулся — у калитки стояла Надюха.

Гулянка закончилась поздно вечером. Илья Петрович, под хмельком, сидел один за пустым столом, оглядывая его, выискивая, не осталось ли чего. Но Марья Степановна сразу поняла, в чем дело, турнула его в избу:

— Мало тебе, сдыхать завтра будешь! Не напился он! Давай-ка спать, без разговоров!

Илья Петрович поднялся, спел матершинную частушку и, похохатывая, направился спать.

Уносить посуду Марье Степановне помогали Валентина и Серафима Петровна. Они стаскали ее в летнюю кухню, вытерли и сняли клеенки со стола, Валентине загорелось было помыть сегодня хоть тарелки, но Марья Степановна не дозволила:

— Пусть стоит, иди спать, дочка, завтра уберем.

Ушла и Валентина. В ограде стало совсем тихо, только слышно было, как в центре, у клуба, весело смеялись, бренчали на гитаре и опять смеялись. Остервенело лаяла где-то, по голосу — совсем маленькая, собачонка. Слушая эти ночные звуки Журавлихи, не хотелось нарушать того покоя, какой особенно дорог после долгого, шумного дня и бесконечной суеты. Наносило горьковатым дымом последних костров.

Марья Степановна и Серафима Петровна молчали, вздыхая, каждая думала про свое и каждая одинаково — о своих детях.

Стихли смех и гитара у клуба, только собачонка все надрывалась, лаяла и лаяла, охрипла, а успокоиться не могла.

— Ну, ладно, Мария, пойду я.

— Да посиди еще. Одной оставаться неохота, Илья уж дрыхнет, поди, без задних ног.

— Нет, пойду я, извиняй, чуть было вам седни все

не испортила, ить зарекалась, дура, не ходить, так нет, опять притащилась.

— Да ладно уж, эка беда, понимаю я. Завоеешь.

— Вот, веришь-нет, сердце прямо схватывает, как вспомню: лежит он, Лешенька мой, а ни лица, ничего не видно, гроб только да цветочки на ем. И не открыли даже, сколько ни просила — нельзя, говорят.

Она замолкла, отвернувшись и долго смотрела в сторону, потом вздрогнула и, словно отрываясь от своих далеких, нездешних мыслей, вздохнула:

— Сны мне стали нехорошие сниться. Ночью вскинусь и лежу, лежу... Знаешь, все Нюрка приходит, вот так будто на лавку сядет и рассказывает, как мы в войну робили, тебя с Тятей поминает. Да все с хаханьками, с шуточками, прямо такая уж развеселая. За всю жизнь горькую свою насмеется там теперь. Был человек, и нету. Я вот все думаю, чем старее, тем больше покойников вокруг тебя, скольких уж снарядила... Эх, Нюрка, Нюрка...

Да, жила Нюрка Орехова и ушла. После войны запила она горькую, путалась с кем попало, в открытую отбивала женатых мужиков, не раз колотили ее за это. Жизнь загремела, как перевернутая телега под гору, только щепки в разные стороны. А потом в одну из глухих ночей, осенью, приладила Нюрка веревку к толстому штырю в сарае и засунула голову в петлю. Эх, Нюрка, Нюрка, на счастье и на радость рожала тебя мать такой красивой, да облетели все добрые мечты, пооборвало их, будто листья с тонкой осинки, железным, суровым ветром. Недолго цвела, слишком скоро осень настала. Памятника тебе не поставили, медалью не наградили, только вот чистую, горькую слезу смахнут заскоруждыми пальцами твои подруги да протяжно вздохнут.

— А Тятю я видела недавно, в Крутоярово была, — тихонько перевела разговор Марья Степановна. — Попе-

рек толще стал. И важный такой, одетый в чистенькое, видно, смотрит она за ним.

— А как же, учительница.

Они обе невесело рассмеялись. Тятя своего добился. Прибрала его к рукам пронырливая крутояровская бабенка, правда, работала она в школе только техничкой, но для Тяти это было без разницы, и женой своей он очень гордился. И то хорошо: при деле человек, одет и накормлен.

— Ну, ладно, Мария, пойду я. И так засиделась.

Марья Степановна проводила ее, потихоньку вернулась назад, села на прежнее место. И снова прислушивалась к ночным звукам Журавлихи, думала про Саньку.

«Как это до меня сразу не доперло — чего он головой крутит. Надюху эту ждал. И ведь молчит, паршивец, ни слова, ни полслова. А так вроде и ничего девчонка. Господи, еще и приценяешься, дура старая, что он, Санька-то — царевич? Только бы здоровым да целым вернулся, а там пусть хоть на черте женится. Проводить да дожидаться последнего, тогда уж и совсем душа успокоится. Все на матерей валится. Пока их выносишь, пока родишь да вынянчишь, растишь, растишь, а потом отправлять надо, ждать и что за доля такая. Серафима вон сегодня завывала, да как не завывать: и войны нет, а парень погиб. Разве для этого мы их рожали? В войну скольких схоронили, вроде бы и хватит, остепениться пора. Так нет, им там, за морем, неймется все, живоглотам, все крови им надо. Теперь вот два года живи и трясись, радио слушай. Старшие-то когда служили, этот мужик по радио как зарокочет, колени сразу и подсекаются, а он опять: космонавты полетели, будь ты неладен, прямо сердце вынимает. Ну, два года как-нибудь, только бы не было ее, проклятой, не дай бог».

И много еще разных мыслей приходило в голову, она их не отбрасывала, а все забирала себе, думала и дума-

ла, забыв о сне, хотя знала, что все их за один вечер не передумаешь, что хватит еще надолго.

Она сильно устала — не шутка ведь, целый день на ногах — клонило в сон. Но спать не собиралась, едва ли не главное дело осталось впереди.

В избе висел на вешалке вместе с фуфайкой новенький зеленый рюкзак. Она давно уже все приготовила, что надо будет в него положить. Перво-наперво чтоб было поесть. Там пока довезут, пока в столовую сводят, будет голодным. Пусть уж лучше останется, если много. Большой шматок копченого сала она обернула бумагой, пышную булку — специально квашню заводи́ла, стряпала — закрутила в чистую тряпицу, в спичечную коробку насыпала соли. Добавила к этому две жареные щуки и вареную курицу, а еще белых больших каралек и немного конфет — все разместилось на дне рюкзака, специально выбирала в универмаге пошире. Сверху положила полотенце, зубную пасту со щеткой, мыло, бритву. Вроде все.

«Вот и собрала сыночка, — подумала она, тихо опускаясь на стул. — Мама тогда тоже сидор на столе поставила, сидит плачет. Я уж старше ее теперь, и не одного проводила, а третьего, только и разницы, что не на войну, да встречаю. Ох, годики летят».

Марья Степановна прикрыла глаза. И будто наяву все заново увидела.

За околицей Журавлихи, там, где мост через речку, на берегу, стоял маленький березовый колючек — его потом в войну на дрова свели, — чуть подалее, сбоку от него, вцепилась корнями в землю толстая ветла с большим дуплом. До этой ветлы они и проводили с матерью отца. Он снял с плеча сидор, достал нож и долго вырезал две зарубки. Одна была пониже, другая повыше, но недалеко друг от друга.

— Вот как вернусь домой, так и срежу их к чертовой

бабушке. А дальше меня не провожайте. Давай, Марья, расцелуемся, теперь с тобой, мать, и пошел я.

Он быстро перебежал мост и пошел, пошел крупными шагами, догоняя телегу с мужиками, которая успела укатить уже далеко.

Прислал одно письмо — завтра в бой, а следом похоронка.

Мать последнее время жила у них и померла вон в той комнате восемь лет назад. К концу совсем плохая стала, и не видит ничего, и оглохла. А как засобиралась помирать, стала просить:

— Ты, Мария, свози меня к ветелке, я хоть Степановы зарубки напоследок пошшупаю.

Попросила Василия, отвез он их к ветле, искали, искали на ней зарубки и не нашли, заросли они.

Марья Степановна вздохнула и стала завязывать рюкзак, но остановилась — что-то вроде забыла.

«А, конверты-то!» Принесла толстую пачку конвертов, завернула в газету, но передумала и развернула. Нашла ручку и старательно взялась выводить печатными буквами адрес: «НСО, Крутоярровский район, село Журавлиха, Матушкиным Илье Петровичу и Марье Степановне».

«Вдруг недосуг будет, а тут конверт подписан, черкнул пару строчек, заклеил и отправляй». Еще старательней выводила печатные буквы, а они почему-то все равно получались кривыми.

7

После полуночи совсем затихла Журавлиха. Унялась злая собачонка, на полную высоту выпорхнула яркая луна, затопила село блеклым светом, отражалась в реке и на жестяной крыше кирпичного клуба. Последние парочки еще бродили по тихим переулкам, сидели

на лавочках, целовались, оглядываясь, хотя в такой поздний час уже никто не мог их увидеть.

Речка разлилась, и лодки прицепляли к заборам огородов. В одну из них сели Санька с Надюхой. Текла мимо вода, отражая лунные блески, шлепала едва слышно в борт, так слабо, что даже на чуток не могла повернуть лодку или покачать ее. Где-то промыло кусочек земли, и вода покатила, наверное, в ложбину, журчала непрерывно, а потом перестала, наполнив ее. И снова тишина.

— Ну скажи, с чего опоздала? Приходить не хотела?

— Не надо, Саня, не говори ничего. Молчи, давай помолчим. Я не нарочно.

Плыла река, плыла ночь над Журавлихой, все, что окружало, плыло широко и спокойно.

Странно было Саньке. Вот сидит он молча, и нет у него слов, не нужны они ему, а молчание так много говорит — и говорит ясно, четко, после него не остается никаких вопросов.

Ни Санька, ни Надюха по своей молодости еще не могли знать, что эти две ночи, которые они провели вместе, обычные на земле ночи, останутся самыми лучшими на всю длинную жизнь, какая им уготовлена, и что через годы еще они будут согревать и хранить их, и что такие ночи по мудро заведенному правилу даются людям только один раз. И никогда ни у кого не повторяются.

8

В Крутоярово поехали на колхозном автобусе. Он три раза сделал круг на площади возле универмага, повернул налево, на главную журавлихинскую улицу, и покатиł мимо домов, мимо старой, уже засыхающей ветлы с большим дуплом, через мост, на пригорок, а



там шофер прибрoсил газу, и замелькали по обеим сторонам озимые поля с зеленеющей рожью, кругляшки еще серых колков, оставалась внизу и отодвигалась все дальше своими крышами Журавлиха.

С утра выглядывало солнце, но после обеда погода испортилась, набежали тучи, то закрывали его, то выпускали, так оно и светило — урывками. Запохлестывал ветер, закручивая на дороге пыльные ручейки, потом стал капать дождь, прибил эти ручейки, но и сам остановился, раздумывая, и была вокруг такая половинчатость, которой и названия нет.

И в автобусе также было — не громко и не тихо. После шумного провожания в деревне все приумолкли, будто устали, начнет кто-нибудь говорить или смеяться и быстренько замолкает.

Санька сидел впереди, рядом с матерью, — сегодня никуда его не отпускала от себя, ни на шаг — и чувствовал, что сзади глядит на него Надюха. Он снимал кепку, гладил стриженую голову, смотрел вбок и вперед, стараясь не встретиться с материнскими глазами. Они у нее были необычно спокойные и строгие, а сама Марья Степановна сегодня не шумела, не кричала ни на кого и больше молчала. Эта перемена в матери, а Саньке она была еще не знакома, тревожила его.

Так и доехали до военкомата. Возле него уже стояли машины и автобусы, суетились, шумели люди.

Дом, где помещался военкомат, обшитый елочкой и выкрашенный зеленой краской от фундамента до карниза, со свежими латками новых досок на серой крыше, с узкими длинными окнами, возвышался и над людьми, и над машинами. Дом этот был срублен крутояровскими мужиками в год падения твердынь Порт-Артура для волостного земства, дожил до угрозы нейтронной бомбы и повидал на своем тревожном веку так много, что отяжелел от событий и лет, качнулся на один бок и врос глубоко в землю. У него не раз перекрывали

крышу, меняли стропила, перебирали печки и вставляли новые рамы, настилали полы и подновляли крыльцо, но стен не трогали. И они дюжили, доживая свой век,— все выше на соседней улице поднималась кирпичная кладка нового здания.

Если бы дом был живым и если бы он умел думать, то однажды, увидев в памяти не объятую взглядом толпу мужиков, парней и совсем зеленых мальчишек, ушедших с этой площади на войны, большие и малые, и усеявших могилами далекие и близкие земли, если бы его в один час оглушили бабьи вопли и крики, предсмертные стоны и хрипы, безнадежные зовы жен и матерей в последние минуты и если бы там, за этой необъятной толпой, он еще смог бы увидеть море сирот, если бы все это дом смог понять — он бы зашатался и рухнул...

Все происходило быстро, очень быстро. С крыльца шустро сбежал знакомый Саньке прапорщик, прочитал список, построил новобранцев, лихо развернулся, вскинул к козырьку руку и пропечатал шаг по узкому деревянному тротуару навстречу майору. Доложил, отступил в сторону и отбросил от козырька руку. И только тут Санька заметил на груди прапорщика орден. Большая звезда с белым пятнышком посередине краснела на темно-синем парадном кителе. И сразу же этот прапорщик, с его пухлыми губами и щеками, с его вздернутым носом, высоко поднялся над Санькой, уже не ровня ему.

После того как раздали военные билеты, объявили, что новобранцы могут попрощаться с родными и потом сразу же, без задержек, на вокзал, в поезд. Просили, чтобы провожающие на вокзал не ездили, не мешали посадке.

Санька направился к своему автобусу, где его ждали Надюха, братья, отец и мать.

Николай с Василием, видя, что родители приуныли,

да и сам Санька примолк и заглядывал всем в глаза, начали было рассказывать байки, смеяться, но их никто не поддержал. Несколько минут так и стояли — молча.

— Ну, это, скисли чего, едришкина хать, — первым по-молодому встряхнулся Илья Петрович. — Давайте хоть на посошок по одной пропустим.

— Стой ты, не мельтеши, не напился.

— Мать, не ругайся, по одной только, для порядку. Чтоб дорожка была гладенькой.

Притащили из автобуса бутылку. И тут раздалась команда отправляться на вокзал. Все, кто провожал, тоже, конечно, поехали. Мать снова посадила Саньку рядом, а ему хотелось сидеть с Надюхой, с которой сегодня не перекинулся и двумя словами, хотелось послушать ее — неважно, что она будет говорить.

Пока ехали до вокзала, пока там призывников строили и снова читали список, пока уговаривали провожающих отойти в сторону, уже начало смеркаться, загорелись фонари, и особенно ярко — зеленый, в той стороне, откуда должен был показаться поезд. Вокзальный динамик похрюкал и объявил, что поезд прибывает. Санька закинул за плечи рюкзак — он был тяжелым — и неожиданно припал к материной груди. От кофты пахло печеным хлебом и дымом. Марья Степановна не плакала, она сняла с него кепку, погладила стриженую голову, обняла и спокойно, не торопясь, поцеловала три раза. Потом подошли братья, отец, а Надюха сиротливо стояла в стороне, сунув руки в карманы синего плаща, и, опустив вниз глаза, катала ногой по перрону маленький камушек.

Санькин рюкзак тяжелел, и ремни его сильнее давили на плечи.

Вдалеке показался яркий луч света, но зеленый фонарь не потерялся в нем, по-прежнему указывал путь, следом за лучом гнался и вот уже обогнал его громкий

гудок поезда, грохот нарастал, и казалось, что от него пробегает крупная дрожь по перрону. Тепловоз был уже совсем близко, дышал шумно, запаленно, но все равно мощно и сильно, рвался вперед, готовый своротить, растоптать любую преграду. Маленькими, беззащитными были люди в ярком свете надвигающейся громадины. А для Саньки особенно — Надюха. Он кинулся к ней, раскинув руки, целовал, а она только шептала:

— Все хорошо, все хорошо, хорошо будет...

И вдруг откуда-то в этой сутолоке, в этой разногласице возникла громкая музыка, словно солдатским строевым шагом двинулась вперед и повела за собой. Санька растерянно оглянулся и не понял — где она звучит, не смог догадаться, что она в его памяти зазвучала гармошкой Матвеича. Еще тяжелее надавили на плечи ремни рюкзака. Санька пошел к вагону, у самых дверей он хотел обернуться, крикнуть что-нибудь ободряющее, но толпа таких же, как он, стриженных ребят, запихнула его в тамбур и потащила дальше по проходу. Наконец он вырвался из нее, бросился к окну. Поезд дернулся, пробежал по вагонам толчок, поплыл влево, исчезая за краем окна, желтый, низенький вокзал, перрон, отец и братья на нем, Марья Степановна рядом с Надюхой. Но пропал вокзал, перрон, дома станции отодвинулись в сторону, тоже влево, исчезли фонари, поезд дернулся еще раз, набирая ход, вплотную придвинулся к окну темный сосновый бор, и застучали, застучали колеса, завели свою монотонную песню. Мелодия в ней одна и та же, а слова самые разные, какие захочешь. Стоило Саньке подумать: «Вот и все. И поехали», как колеса с радостью подхватили: «И поехали, и поехали, и поехали».

Он долго сидел у окна, сняв рюкзак, все еще чувствуя на плечах его тяжесть. Кончилась стена бора. Замелькали поля, привокзальные поселки, далекие ми-

гающие огни, высокие трубы, переезды с редкими машинами у полосатых шлагбаумов — все мимо, мимо, все проносилось и оставалось за его спиной.

ТАКАЯ ДОБРАЯ ПОГОДА

1

Взрыв. Огромный, в полнеба. Разинув рот в неслышном крике, над чахлыми кустиками полыни поднимается взводный. Высокий, худой, беззащитный до жути. Взрыв. Кувыркаясь, летит в небо березка. Земля тянет, прижимает к себе, дрожит рядом полынь, и пахнет от нее лекарствами. Медленно подтягивается нога, медленно упирается рука в холодный песок, вот и уперся, напрягся, а сил встать — нет. Взрыв. В нем исчезает взводный, косогор, ветки полыни, тело втискивает вниз, сверху наваливается тяжесть, еще немного — и она расплющит, раздавит. Он кричит. Тяжесть сильнее, скоро и крик оборвется:

— А-а-а-а!

— Дядя Илья! Дядя Илья! Проснись!

Он открывает глаза и видит перед собой растерянное лицо парнишки, соседа по палате: лицо бледное, то ли от испуга, то ли от неяркого света, падающего из коридора.

Беззвучно разевает рот и садится на кровати. Оглядывается.

— Опять орал?

Парень медленно отходит в сторону, вытирает лоб.

— Ты меня, дядь Илья, поросенком скоро сделаешь. Хотел сестру звать.

— Опять, значит, орал. От, едришкина хать! Дай-ка папироску.

— Засекут. Врачиха и так волком на меня.

— Не жмись, я в фортку, потихоньку.

Из открытой форточки тянуло холодком сентябрьской ночи, рама снаружи была влажной, а стекло запотевало, мутнело, не пропускало свет фонарей. «Роса выпала. Шибко сильную-то и не надо бы», — подумал Илья Петрович. Нагнулся, воровато чиркнул спичкой, и дым от папиросы, изгибаясь, сизой струйкой пополз на улицу. Сидя на подоконнике и ловко упрятывая папиросу в рукав халата, он смотрел на больничный двор, на кусок черного неба, на дорогу, едва различимую вдалеке. По дороге изредка мелькали машины, гул их моторов доносился неясно, едва слышно и не нарушал тишины, которая лежала на больничном дворе, в палате, в коридоре. Натянув на голову одеяло, уже спал сосед-парнишка.

Боль в груди затихала, дышать становилось легче. Илья Петрович аккуратно притушил окурок и решил окончательно: «Проситься надо, чтоб отпустили. Хватит валяться. Все равно теперь не отремонтируют. У трактора железяки и то не дюжат, ломаются, а тут к старости дело. Эх, годков тридцать бы скостить...».

Залез под одеяло, хотя знал, что долго теперь не уснет, и до самого рассвета скрипела под ним койка старыми, растянутыми пружинами.

Утром пошел к врачу, не дожидаясь обхода. Еще неделю назад заводил с ним разговор о выписке. Врач был молодой, строгий и так старательно хмурил брови, что на голове шевелился белый колпак. Больше всего Илья Петрович боялся, что его не отпустят.

— Значит так, мы вас выпишем. Но запомните, товарищ Матушкин, спиртного — ни грамма, курить — ни в коем случае. И самое главное — сменить работу. В колхоз я уже позвонил.

— Ну, а это, — Илья Петрович прищурил левый глаз и снизу вверх глянул на врача, — с бабой спать воспрещается или как?

— Я вам серьезно,— обиделся врач, у него даже порозовели щеки.— Организм изношен, надо беречься. Вы же понимаете, не ребенок.

Илье Петровичу стало неудобно за свою шутку, он смутился:

— Ладно, извините. Счастливого оставаться.

Он всегда любил осень. И наскучав в больнице по вольному воздуху, по свободе, шел главной улицей райцентра тихо, оглядываясь по сторонам. Густо надвигались пузатые тучи, высверкивало солнце, подкрашивая их поверху алым светом, но ненадолго, и когда его снова закрывали темные лохмотья, большая тень, ровная, будто отрезанная одним махом, быстро бежала по всему поселку, стирая яркий свет, вот она догнала Илью Петровича, почудилось ему — замедлила на секунду, и устремилась дальше. Тополя облетали первыми, верхушки были уже голыми, ветер перетряхивал на земле листья, растаскивал их, затихал и начинал все сначала. Позвякивали в сетке пустые банки, в которых Марья Степановна привозила в больницу варенья и солености, шуршали листья, и думалось под эти звуки тихо, обстоятельно.

«Изношен... Правильно, братец, как-никак, а пуп трещал от работы, вот поршня и пошли вразнос. Саньку еще надо до ума довести. Эхе-хе...»

2

На выезде из райцентра ему удачно попалась попутка, и к обеду он был уже возле своего дома. Еще не заходя в ограду, услышал заполошный голос, ухмыльнулся и прибавил шаг.

— Язви ты в душу, паршивец, ты чего удумал?

Широко распахнув калитку, он увидел такую картину: Марья Степановна, вся красная, руки в бока, стояла на крыльце, а перед ней, ковыряя в носу пальцем,

переминался Илюха, сынишка Василия, названный так в честь деда.

— Здорово, товарищи! Воюем?

— О господи, дед приехал. Да я с греха с им сгорела! Целую тесину на ружья эти изрезал, а седни гляжу: жердину из ограды тащит, городки ему, вишь, понадобились.

Илюха, не слушая бабу, степенно подошел к деду и подал «петуха».

— Дед, ты городки обещал, а не едешь. Я сам хотел и ножовку принес, да тут с бабами...

— Ах ты, паршивец!

Илья Петрович пыжился из последних сил, чтобы не расхохотаться.

— Сделаем, приходи после обеда, и сделаем. Беги играй пока.

Илюха оседлал прут и ускакал из ограды. Илья Петрович сел на крыльцо и разулся.

— Так тебя насовсем выписали?

— Врач сказал, что на мне теперь пахать можно.

— Ну уж?

— Так и сказанул, зараза. Молодой, а ушлый, и когда всего набрался?

— А они нынче все с пеленок знают. Этот-то, паршивец, слыхал, как разговаривает? И слова-то какие!

— Тоже ушлый мужик растет. Достань-ка, мать, огурчиков. У меня от этих кашек изжога. И что за мода в больнице: утром каша, вечером — опять она. Того нельзя, другого нельзя. Маета одна. Письмо от Саньки есть?

— Было на днях, кого там, полстранички накорябал: служба идет хорошо, да просит, чтобы табаку прислали. Конверт на комод, возьми. Огурцы я в ямку спустила, пойду достану.

После малосольных огурцов, которые Илья Петрович ел прямо на крыльце, доставая их руками из трех-

литровой банки, его потянуло в сон. В последнее время стало случаться: покемарит ночью, и все, а днем прямо с ног валит — спать хочется. Но пересилил себя и взялся читать Санькино письмо. Было оно и впрямь строчек на двадцать. Илья Петрович попытался представить Саньку в военном и не смог — вот в цветастой рубахе, дело другое: «Хоть бы фотографию выслал, швырок. Вот тебе и швырок, солдат уже».

А давно ли он брал Саньку в кабину трактора, прокатиться. Тот сидит, бывало, волосенки дыбом, а руки так к рычагам и тянутся. Давно ли было? А сам в первый раз весной поехал, в посевную. Илья Петрович и день тот хорошо помнит, веселый, солнечный: по дороге на Дальний клин он посадил Саньку на свое место. Трактор истошно заревел и рывком дернулся вперед, потом, правда, выправился и километра три проехали без приключений. Ночью, когда Санька уже спал, Илья Петрович вернулся с работы, подошел одеяло поправить, смотрит — смех и грех, — новоявленный тракторист и во сне руками дергает, все рычаги включает, в сердцах зубами даже скрипит, видно, не получается, как надо.

«Придет с армии, заставлю на трактор сесть или на грузовую, не дело возле начальства ошиваться, разбалуются. Хлеб легкий и выпивка дармовая — разве толк будет?» — еще об этом успел подумать Илья Петрович. Лег в сенках на раскладушке, которую не выносили с лета, лег и как пропал. Под родной крышей, среди знакомых запахов, под негромкое квохтанье кур ему дышалось глубоко и спокойно, сон был ровный, плавный, без кошмаров и криков. Прервался он только тогда, когда солнце, дрогнув в своей верхней точке, стало медленно снижаться к западу, вытягивая тени. В щель над дверью проскользнул длинный луч, осветил темноватые сенки, лег прямо на лицо Илье Петровичу, сломался и протянулся по полу дальше, от раскладушки до

стены. Этот невесомый луч и разбудил его. Он открыл глаза и долго лежал, прислушиваясь, как там у него внутри. Там, на удивление, ничего не давило и не беспокоило. Он улыбнулся и продолжал лежать. Дверь в избу была полуоткрыта, слышалось Илюхино швыркание и шепот, если это можно назвать шепотом, Марьи Степановны:

— Кака лихоманка тебя гонит? Дед еще не вставал, а ты уж приперся. Куда пирог потащил? Сколько раз говорено, не таскай покусошно. Сядь за стол и трескай, сколькo влезет. Да тише ты, паршивец!

— Не шуми, мать, я уж встал.

— Да с им разве поспишь! Куда, говорю, пирог потащил?

Но Илюха уже успел прошмыгнуть мимо бабки в сенки и, размазывая по щекам красную бруснику, скорей пытался запихнуть в рот весь пирог, что-то бубнил, но понять было нельзя. Наконец прожевал.

— Деда, скоро ты? Я пацанам сказал, ждут они.

— Не сикоти, я не реактивный.

— Какой ты реактивный,— засмеялся Илюха,— у тебя ж и сопла нет.

— Чего-о?

— Сопла.

— Едришкина хать, совсем деда забивает. Ну пошли.

Во дворе у Матушкиных росла густая, непритоптанная трава, и Илья Петрович не удержался, прошел по ней в одних носках; земля была уже не летней, отдавала холодком, да и трава пожухла, посерела, но все равно приятно было идти в одних носках, осторожно оставить ноги, чуя под ними едва слышный хруст усыхающих травинок.

За сараем у Ильи Петровича лежала тонкая сосновая жердь, сухая, с аккуратно обрубленными сучками. Он ее ошкурил скобелкой, отрезал ножовкой малень-

кую чурочку и, меряя по ней, стал раскраивать жердь на городки. Илюха не отходил ни на шаг, держал все чурочки в охапке и посматривал на конец жерди, боялся, что не хватит. Из вершинки Илья Петрович сделал ловкую лапту, а чтобы держать ее было удобней, поскоблил ручку осколком стекла. И шутейная вроде работа, так, баловство одно, но Илье Петровичу было приятно ее делать, а когда сделал, не утерпел, захотелось сразу же и проверить.

— Ставь, Илюха.

— А кого — танк, крепость?

— Давай крепость.

Илюха шустро соорудил из городков крепость, Илья Петрович отмерил десять шагов, отчеркнул линию, выставил вперед левую ногу, вытянул лапту, прицелился по кончику. Звонкий сухой удар — городки брызнули в разные стороны. Илюха, повизгивая от восторга, стал сооружать танк, потом кидал в него лапту и все мимо, злился, видя, как хитровато ухмыляется дед, но все-таки сбил и тогда сел рядом. Закинул ногу на ногу и рассудительно заговорил:

— Погода-то не подведет, дед? Молотить еще ое-ей сколько.

— Может, и постоит.

Илюха наморщил лоб, но тут же забыл про серьезный вид, вытаращил глаза:

— Слышь, дед, а может так быть, что хлеб нигде не вырастет? По всей земле. Ну, сгорит или градом прибьет. А?

Илья Петрович растерялся от неожиданного вопроса:

— Не знаю...

— Ты, дед, должен знать.

— Ну как? Не может, наверно, такого быть, чтоб хлеб не рос. Хлеба нет и человека нет, а без человека всему крышка.



- И без меня тоже?
- И без тебя.
- Значит, дед, мы тоже самые главные?
- Выходит, так.

Илюха примолк, собираясь с мыслями для нового вопроса, но в это время за оградой вразнобой закричали пацаны, вызывая его, и он, схватив в охапку городки, лапту, убежал.

Крепче подул ветер, сдвинул налитые дождем тучи и погнал их прямо на солнце. Закачались на увалах березы, просыпая на землю листву, и даже отсюда было видно, как она сыплется, гуще и гуще закрашивая склон желтым. Поле было двухцветное: золотисто-рыжее до ближних берез и дальше — черное. Два трактора ползали от одного края к другому, таскали за плугами тучи пыли. Илья Петрович не хотел смотреть на трактора, но смотрел, в ладонях свербил неотвязчивый зуд. Долго ходил по двору, примеривался, приглядывался.

Работы было по горло: в сенках текло, к яслям в пригоне надо было прибить новую доску, поднять воротца в ограде, а то совсем провисли, не закрываются. По весне Илья Петрович ничего не делал, оставляя на лето, а лето проболел. И вот стоял сейчас посреди ограды, видел все, что ждало его, чуял в руках зуд и не мог ни за что взяться. Сразу, быстро забывалась та радость, с какой он делал городки. Поглядел еще раз на поле, где ползали два трактора, плюнул и пошел прочь со своего двора.

3

Вот ведь штука: и отлучался недолго, а шел по улице и видел перемены. Раньше годами в Журавлихе ничего не менялось, а теперь через день новое. Уже достраивали двухэтажный дом недалеко от конторы, оставалось только покрыть крышу. Таких домов в Журав-

лихе было уже четыре, один подле другого, с табличками на подъездах, с маленькими хилыми садиками перед окнами. Еще недавно эти дома казались необычными, теперь ничего, примелькались. И без хозяйства люди жить научились быстро — ни кутенка, ни куренка не держат. Чуть что — бегут к председателю: выпиши мяса. Вот и старший, Василий, в таком живет, тоже налегке, хорошо, что у Ильи Петровича корова добро доится, а то бы оставили пацана без парного молока. Николай — тот молодец: я, говорит, в этот улей не полезу ни за что. Сам себе дом отстроил.

Илья Петрович прошел еще немного. Влево от Дома культуры тянулась на взгорок целая улица тоже каменных, но только одноэтажных домов. Улица от белого кирпича, из которого они были сложены, казалась светлой. Рядом рыли еще две ямы для фундаментов. На столбах, тоже недавно, повесили длинные светильники, под столбами валялись доски, всохшие как попало в землю, глубокие колеи, выбитые в распутицу, задубели от жары. «Как в той присказке, — вздохнул Илья Петрович, — и пиджак купил, и рубаху, и штаны, пошел в гости, а забыл, что босиком. Вечно у нас получается: ноги вытащим, так хвост замараем. Ох ты, Журавлихаматушка!»

Навстречу почти никто не попадался, потом побежали ребятишки из школы, загомонили. Илья Петрович постоял возле магазина и свернул с центральной улицы в переулок. Здесь перемен было мало и все дома стояли до того знакомые, что их и не замечаешь, как не замечаешь вещи в своей избе. По левой, солнечной стороне росли старые высокие тополя, летом они устилали пухом землю, как снег после метели. Пух сбивался, лежал особенно толсто в колдобинах и возле заборов. Теперь так лежали листья. Стараясь не наступать на них, идти хотелось тихо, он миновал крайние дома, перешел на другую сторону, под тополя, и только тут понял, что

идет не просто так, не от нечего делать, а идет прямо к знакомой калитке. Понял и усмехнулся над самим собой.

Калитку он не открыл, не постучал в нее, а сел на лавочку, закурил, забылся и вздрогнул даже от неожиданности, когда его окликнули:

— Здорово, Илья Петрович. Что не заходишь? Говорят, хворал сильно?

Голос у хозяйки, Катерины Ивановны, звучал негромко и грустно.

— Схватило немного, такое дело.

— Заходи, попроведай. Квасом напою, недавно ставила, свежий.

— Зайду, глядишь, и покрепче подашь.

— Не держу. Сама не пью, а поить некого.

— Давай квасу, да побольше, люблю, я такой.

— Бодришься все, стареть-то неохота.

Катерина Ивановна засмеялась тихонько и колыхнулась полными плечами. Илья Петрович смутился, потому что поймал себя: голову старается повыше держать, шагает бодрей. Махнул рукой:

— Едришкина хать, и правда стареть неохота.

Они сели в прохладной кухне за стол, друг против друга. Банка с квасом, принесенная из ямки, запотела, покрылась каплями и чуть не вырвалась из рук Катерины Ивановны.

— стакан подставляй, да ближе.

— Хорош квас, прямо как брага пробирает.

— Будто знала, что ты придешь. Старалась, — Катерина Ивановна засмеялась, и снова колыхнулись ее полные плечи.

— Как живешь?

— Лучше всех, никто не завидует.

— К сыну-то в город ездила?

— Ездила. Опять вот собираюсь. Здоровьишка не стало, придется, видно, насовсем к нему перебираться.

— А он как?

— Да хоть завтра. И невестка золотая попалась — живи, как у Христа за пазухой.

— Раньше вроде не собиралась.

— Я до нынешней весны взлягивала — нигде не кольнуло, а тут как приперло, так и засобиралась. И тебя подтянуло, Илья Петрович, постарел.

— Ну, ты прямо расцвела.

— Я что, баба вдовая, фуфыриться не перед кем. Давай еще кваску плесну.

Завяла, завяла Катерина Ивановна. Бойкие черные глаза выцвели и поутихли. Вширь раздалась, одна пуговка на кофте даже и не застегивается, платок на лоб сдвинут.

— Загляделся. Шибко страшной стала.

— Да нет, просто.

— По радио дождя обещали. Хоть бы картошку посуху выкопать.

— Дождик ничего, как бы снег не выпал. Когда это, не помню, года четыре назад, тоже в сентябре, числа двадцатого повалил.

— А теперь эту погоду не поймешь, все перевернули. Не знаешь, чего и ждать. Ты кого притих?

— Да вот тут, — Илья Петрович поморщился.

— Так ляжь вон на диван, я подушку достану.

— Не надо, пройдет. А то еще увидит кто-нибудь, скажет, что мужик рехнулся, средь бела дня у чужой бабы спит.

— Теперь уж никто не скажет, не бойся. Старики, одно слово.

Илья Петрович кивнул головой, а сам все не вытаскивал ладонь из-под рубахи. Боль внутри толкалась остреньким шильцем. Ткнет и отдернет, ткнет и отдернет. Вот перерывы эти стали длиннее, казалось, что шильце сейчас уgomонится, но оно и не думало, напоминало о себе. Нудно, паршиво ожидание боли. И как-то

сразу, скопом, множество мыслей успевает проскочить между тычками шильца. Они разные, эти мысли, но вот кажется, что об одном, просто чувствуется то состояние, даже годы его не стерли. И не ради ли него он забрел сегодня сюда?

Той осенью, вскоре после войны, Илью Петровича поставили механиком в МТС. Пахали до первой крупы, которая по ночам урывками сыпалась с неба, а ночи стояли сырые и холодные. Все было мокрым от долгих дождей, даже воздух, от него влажнела и тяжелела одежда. И хотя дожди уже кончились, хотя сыпала ледяная крупа, хотя начинало подмораживать, все равно чувствовалась во всем мокреть.

Лошадь дошла до края пахоты и остановилась, подняла голову, словно хотела заржать от усталости и холода, но тут же опустила ее. Илья Петрович, было задремавший в своем возке, вскинулся, догадался, что приехал. Гула мотора не было слышно. «Опять сломались. Что ты будешь делать!» Запахнул посильнее свой дождевик и, шурша им, мокрым, при каждом шаге, побрел, проваливаясь в пахоте. Ничего не было видно, только едва чернел колок. Кое-как разглядел, что маячит возле него трактор. Вернулся к телеге, засветил «летучую мышь», которую всегда возил с собой по ночам, и в желтом неровном круге тусклого света дошел до трактора. Тот стоял, выехав из борозды, чуть наклонясь к крайним березам. На выхлопной трубе висел сапог — трактористки, когда невтерпех замерзали, снимали сапог и набрасывали его греться на трубу, а босую ногу подсовывали под себя, потом меняли. Илья Петрович поднял над головой фонарь. На сиденье, неловко изогнувшись, сунув под живот руки, спала Катерина Великжанина, даже холода не чужая. Портянка размоталась, упала на грязную, с ошметками мокрой земли, гусеницу, босая нога посинела.

— Эй, подружка, черти не снятся?!

Катерина приподняла растрепанную голову, разлепила глаза, прищурила их от света и обложила его таким матом, что Илья Петрович, который на фронте видывал виды и слышал всякое, оторопел:

— Рехнулась, баба! Лаешься так!

Она перестала материться, потянула с гусеницы портянку, бросила и завывала, стучаясь головой о рычаги.

— Ты чего орешь-то? Да уймись!

Он вытащил ее из кабины, схватил за плечи, потрянул, но это не помогло: Катерина ревела, ноги подкашивались, и она все норовила опуститься на колени. Сгреб ее в охапку, дотащил до телеги и довез до старой избушки, которая стояла на краю поля. Уложил там на солому, закрыл фуфайкой — Катерина все плакала.

Сам сел на порожке, и больше уже не спрашивал, почему она убивается. Что остается делать вдовой бабе с пацаном на руках, которая выше глазхватила мурцовки? Он просто сидел, накинув на плечи дождевик, не шевелился, уставясь в темноту, курил самокрутку и слышал, как трещит, сгорая, крупный табак.

Холодная мокрая ночь накрывала избушку, и посреди этой ночи, за его спиной, плакала вдовья баба, всхлипывала и швыркала носом. Вскочить бы и бежать без оглядки, завязав глаза, бежать, пока несут ноги, — только бы не тыкался в спину этот безнадежный вой. Если бы Илья Петрович знал какие-нибудь особенные слова, утешил бы, но так уж сложилось, что война на-совсем вышибла их, да и бесполезны они были — он это знал.

Сидел, обжигал совсем махоньким окурком губы, дожидался, когда Катерина утихнет. Она замолчала не скоро. Ехать теперь домой было не с руки: скоро утро, на работу, а до деревни далеко. Он распряг лошадь, бросил ей под ноги охапку соломы из телеги и устроился в избушке, у порога, на мокром дождевике. Слышал, как всхлипывала Катерина, как тяжело вздыхает

за стеной лошадь, хрумкая солому, и было у него страшное желание напиться. Так, чтобы отнялись ноги, чтобы перестала соображать голова — лишь бы ни о чем не думать. А завтра, завтра, черт побери, что завтра? — не хотелось думать. И все равно думалось. «Ведь как мечтали? Войне крышка, дальше один праздник. Где он, праздник-то? Пошумел и кончился. Опять сначала, ни дня, ни ночи не знаешь, трактора — рухлядь, кругом одни бабы почти, ни посеять, ни убрать путем не можем. Это сколько же еще работы поломать надо, чтобы выкарабкаться?!»

Лошадь перестала хрумкать соломой, видно, наелась, перестала тяжело вздыхать, легла, и оттого, что она притихла, будто ушла, от беспросветной чернильной темноты, от тишины, в которой пугает даже собственный шорох, делалось жутко и одиноко.

— Илья! — Катерина позвала его негромко, едва слышно, — и, словно боясь, что он не откликнется, повторила громче: — Илья! Иди сюда ближе.

Он поднялся с дождевика, встал на колени, чтобы хоть разглядеть ее, и она, угадав его в темноте, цепко ухватила за шею, сама приподнялась, ткнулась мокрым лицом в щеку, обдавая горячим, чистым дыханием, зашептала:

— Пожалей, не могу, Илья, сил нет, кончились, высохла я. Повешаюсь...

Сильнее тянула на себя, ладони скользили ему под пиджак, под рубашку, шершавые, они царапали кожу, будто неструганные дощечки.

— Катерина, ты чего?..

— Молчи, молчи ради бога!

Дернула, приняла его всем своим истосковавшимся телом, целовала, не давая ничего сказать. И не переставала плакать.

Потом было низкое гнилое утро, попилигала заря под тяжелыми тучами, они придавили ее, и она скоро

погасла. День занялся незаметно, неотличимый от утра. Катерина виновато и ясно улыбалась. Вдвоем они кое-как завели трактор, запрягли лошадь, и все молча, только переглядываясь друг с другом. Катерина ловко заскочила на гусеницу и уже оттуда еще раз улыбнулась, помахала рукой, что-то крикнула, но он не слышал. Гнал лошадь, охаживая ее бичом, подскакивал, когда колеса телеги попадали в колдобины, жег его непонятный стыд перед этой женщиной.

Не раз еще сходились их ночные дорожки, и никак Илья Петрович не мог избавиться от стыда перед Катериной, перед ее благодарностью, ничего не требующей взамен.

В последний раз они встречались возле стога за деревней. Стояла ранняя, ядреная зима, навалило снегу, хрустел мороз. Шерстяной платок у Катерины закуржавел кругом, и в этом круге ярко алели щеки, губы, блестели глаза.

— Нельзя нам больше, Илья, ребятишки вон уж какие. Спасибо тебе за все, теперь живая. Прости, если что не так.

Она осторожно коснулась губами его щеки и пошла. Долго еще, пока он сидел у стога, слышал ее хрусткие шаги по свежему снегу, они ясно раздавались в густом морозе, удалялись, но не утихали.

Такая уж погода стояла на дворе, звонкая — слышно было за километр.

Ткнется шильце и выдернется, ткнется и выдернется. То чаще, то реже. Банка обсохла, но квас еще был холодный, ломил зубы. Илья Петрович пил его большими глотками, чтобы хоть этой ломотой пересилить боль в груди. Помогло, шильце затихло.

— Не наливай больше, Катерина, то обдуюсь.

— Пей, не жалко. Лоб-то вроде у тебя спотел. Давай диван постелю.

— Не надо. Пойду.

— Посиди еще.

— Нет, работа дома есть. Спасибо за угощение, хороший у тебя квас.

— Да, квас...

Катерина Ивановна прямо и долго смотрела ему в глаза. И он тоже смотрел, просто и спокойно. Потом поднялся и вышел. Спускаясь с крыльца, замешкался на нижней ступеньке, подпрыгнул и топнул ногой, ступенька захрустела.

— Так и ноги поломать можно. Топор-то есть?

— Был где-то.

— Тащи, доску поменяю.

Он оторвал старую ступеньку, из обрезка толстой плахи изладил новую, накрепко приколотил ее длинными гвоздями, и она зажелтела смоляной серединой на сером крыльце, как новая заплатка.

— От так ладно будет.

— Дай тебе бог здоровья, Илья.

— Даст, куда денется.

4

Снова он шел по улице, а уже темнело, холодало и сильней к вечеру пахло убранными огородами, раскопанной землей и еще — жареной картошкой, которую готовил кто-то на летней кухне. Возле речки высился зерноток, там засветили фонари, и они перемаргивались, освещая длинные приземистые склады, подъемники, которые то вздыбливали машины с зерном, то опускали их. Все звучало, дышало, работало. Не только на току, но и на полях, невидных отсюда. Сама земля не знала сейчас отдыха и забывалась только на короткие часы — с полуночи до рассвета.

Илья Петрович все это видел, знал, не останавливаясь, шел к своему дому. И чем ближе он подходил, тем медленней становились его шаги, хотелось свернуть

в сторону, выйти к току, на дорогу, где удушливо пахнет пылью, которая стоит стеной, где пахнет зерном, которое везут на машинах, где пахнет бензином, который, сгорев, вылетает сизыми дымками в выхлопные трубы,—хотелось туда. Илья Петрович совсем было остановился, но тут же подумал: «Чего делать? Шары паялить?» Быстро пересек улицу и толкнулся в калитку своего дома.

Марья Степановна встретила его сердито:

— Ты где, холера, шлындаешь? Его врачиха разбилась ищет, а он шлындает. Сказала, что проверяться должен ходить. А я, дура, уши развесила.

— Не кричи, мать, у меня от крика давление поднимается, поняла?

— Чего ты удумал? — у Марьи Степановны задрожал подбородок.

— Не хлюпай. Здоровый я, мало ли чего этим врачам в голову стукнет.

— Не дурней тебя, зря не скажут.

— От, едришкина хать, все умные стали, подальше некого послать.

— Тебе бы только посылать. Врачиха сказала, что бы раз в неделю ходил.

— Да пойду, не шуми, ну, чего шумишь?

Он неловко обнял ее, усадил рядом с собой на крыльце.

— Давай споем.

— Оно кто с тобой, в будний день?

— Уважь. Начни потихоньку, а я потом.

Марья Степановна искоса глянула на него — может, смеется по привычке. Нет, Илья Петрович сидел тихий, серьезный, даже глаза вроде притухли. Чуть наклонив голову набок, он ждал. Марья Степановна испугалась догадки, которая пришла в голову, и беззвучно охнула.

— Уважь, мать, давай споём.

— Собраться никак не могу.

— А ты соберись.

Она еще раз глянула на мужа: он сидел по-прежнему, даже не шевелясь. Было в этой неподвижности что-то новое, чего не знала Марья Степановна и чего не замечала за ним раньше. Кашлянула, поправила платок и своим чистым, нерастраченным голосом затянула:

Распрягайте, хлопцы, коней,
Тай лягайте спочивать...

Илья Петрович выждал и подпер ее взлетающий голос своим, хрипловатым, жестким:

А я пиду в сад зеленый,
В сад криничинку копать!

Почуяв подмогу, она потянула еще выше, и он тоже потянулся следом. Ладно звучало. Но быстро, как одна минута, кончилась песня. Они долго после нее молчали, и вдруг Марья Степановна выдохнула:

— Ты чего удумал?

— Да разве, мать, я придумал. Не звали меня, когда придумывали. Так вот. И все. Ни гугу больше, чтоб не слышал. Дай-ка пожевать.

Переломив себя, молча собрала на стол, они молча поели и заговорили потом, как обычно, о будничном, делая вид, что ничего не произошло.

За этим разговором и застал их Василий. Он ввалился в избу, отряхивая кепкой пыль с пиджака, и в ней сразу запахло полем, бензином. Сел на табуретку, поставил ноги и, не поздоровавшись еще, попросил:

— Мам, дай молока, пить хочу.

Приложился к литровой банке, не отрываясь, опростал ее.

— От, бычок, дует. Если б начальство еще работало так, орденов, как пуговиц, бы носили.

Василий не обиделся, улыбнулся и попросил у матери еще молока.

— Давай на мое место, а я завтра на комбайн сяду, один вон, без хозяина, стоит. Сяду и поеду, а ты командуй.

— Ишь, выкрутился. А чей комбайн стоит?

— Грини Важенина, подборщик, правда, чуть барахлит. У него жена никак разродиться не может, в больницу вызвали. Вчера вечером уехал, сидит там, караулит. А больше некому. В две смены же, всех подскребли. Ладно, ты-то как?

— Велели легкую работу искать.

— Я уж подумал. Вот что, батя, как бюллетень закроют, бери на конюшне мерина, какой посмирнее, запрягай и будешь воду мужикам возить. Милое дело.

— Вот спасибо, родной.

— Что ты?

— Ничего, спасибо говорю. Много хлеба осталось?

— А хлеб завтра надо кончать, хоть лопни. По прогнозу, через два дня дождь, потом снег, вот и раскидывай. Ну, я поехал, на ток еще заскочу. Значит, батя, договорились насчет мерина? Лечись и выходи.

Они спустились с крыльца, подошли к газику Василия, и Илья Петрович придержал сына за рукав.

— Ты вот что, завтра утром за мной заедешь, скажешь матери, ну придумай, чего сказать. А я на Гринин комбайн сяду.

— Ба-а-тя...

— Молодой еще указывать. Тут ты не главный агроном, а Васька, сын мой. Сказано — все. Поработаю, а там хоть на козе поеду. Понял? Вот и добро. Бывай.

Василий замешкался, но Илья Петрович подтолкнул его в кабину.

— Бывай.

Газик тронулся, из-под колес за клубилась розовая от сигнальных фонариков пыль. Было видно, как фары осветили дорогу — направо, потом на горку, мелькнули над речкой, к току.

«Вот ведь дожился, Васька за меня все решает,— удивлялся Илья Петрович.— Настырные они какие нынче — все знают. Мои».

Иногда ему даже не верилось, что вот эти здоровые, уверенные в себе мужики были, вроде недавно, величистой с верхонку. Беленькие, с едва заметным пушком на головках. Неужели это они качались в зыбке, которая висела в горнице (железный крюк до сих пор торчит в матке)? И неужели он их поднял? А Ванюшка остался в памяти прежним, с тонюсеньким голоском, он им научился говорить только одно слово — пама. Что оно значило? Наверное, папа и мама вместе. И еще запомнилась улыбка. Илья Петрович помнил, как улыбались все ребята, и, никому не говоря об этом, всегда поражался — улыбки у них были, как у стариков, все понимающие, будто снисходительные, казалось, что это существо, ростом с верхонку, знает что-то такое, чего тебе, большому мужику, которого крепко пожевала жизнь, уже никогда не суждено будет узнать. Такая улыбка была и у Ванюшки. Он лежал рядом с Колькой поперек широкой кровати, с натугой, хрипло дышал, морщил лоб с проступившими капельками пота, уже не плакал, охрипнув, а только иногда протяжно вытягивал: аа-аа, замолкал и пытался улыбнуться. Морщил губешки, растягивал их, но сил не хватало, он снова разевал рот, ловил воздух, и каждый его вздох отзывался в груди мелким свистящим хрипом. А Колька, закрыв глаза, вроде спал, но и у него дыхание было трудным, сипящим, оно, наверное, доставляло боль, и он сучил ножонками. Они лежали на той самой кровати, где было заложено начало их жизни, лежали, еще ничего не узнав ни в мире, который окружал их, ни в жизни, в какую они пришли, узнавали только одно — боль. А Илья Петрович, в своей мазутной фуфайке, в своих подшитых пимах, высокий, здоровый, стоял перед ними беспомощный.

Молоденькая фельдшерица металась по комнате, роняла то шприц, то пузырьки с лекарствами и готова была вот-вот расплакаться.

— Ну-ка стой,— Марья Степановна цепко ухватила ее за руку.— Стой говорю.

Илья Петрович глянул на жену и поразился ее спокойному, будто деревянному лицу.

— Стой, говорю. Иди сюда.— Подвела фельдшерицу к ведру с водой.— Умойся.

Та послушно стала умываться. Марья Степановна зачерпнула ковшом воды, вылила её на голову. Подала полотенце. Когда фельдшерица старательно утерлась, потребовала:

— Говори, что делать. Быстро только.

— В больницу надо, в район. Сейчас надо.

И глянула в окно. В окно, выламывая его, с подвывом колошматила метель, февральская, долгая, самая злая.

— Ты с нами поедешь.

Фельдшерица с готовностью закивала головой. Илья Петрович бросился к двери. Он бежал на ощупь в злой падере, которая нахлопнула Журавлиху и все смешала, смешала даже небо с землей. Постучал только в окна двух домов, а когда прибежал в МТС, следом появились все соседские мужики. Фанерную будку на санях чуть не до половины завалили сеном, поверх настелили половиков, в один момент раскочегарили соляркой буржуйку, поставленную в углу.

Перехлесты снега были такими густыми, что свет фар, когда он выехал на тракторе из МТС, почти не пробивал белую мешанину. До дома добрался почти на ощупь. Вынес большой кулек, в котором — он слышал это — похрипывал Ванюшка, и молча ахнул: «А в поле-то, в поле сейчас!»

Ребятишек уложили в будке, неловко расшаперив ноги, рядом примостилась фельдшерица с кожаным чемо-

данчиком. Марья Степановна сама все проверила. «А-а, пама!» — вдруг донесся из кулька слабенький голошишко Ванюшки. И тут у Марьи Степановны запрыгали губы:

— Илья, довези быстрее, Христом богом молю. Довези!

Что-то еще говорила, о чем-то молила его, но он уже вывалился из будки, снаружи запер дверь и заскочил в кабину. Качаясь, трактор пополз из деревни, ничего не было видно — ни впереди, ни с боков, только в кабине помигивали круглые светлячки приборов. Ветер забил снегом дорогу, затрамбовал ее, почти сравнял, только по невысоким холмикам бровки удавалось не сбиться. Надрывался мотор, был в тех местах, где сугробы были слишком высокими, иногда таким тонко-сверлящим становился его звук, будто мотор готовился вот-вот заглохнуть. А падера набирала силу, забивала влажным снегом смотровое стекло, приходилось высовываться из кабины и вытирать его рукой, и всякий раз лицо так забивало снегом, что трудно было дышать, фуфайка сразу красилась в белое, в кабине оттаивала и тяжелеела.

Из-за кутерьмы снега он даже не знал: сколько проехали и сколько еще ехать. Вдруг исчезла из вида бровка, растаяла, заметил это сразу, и сразу вспотела спина. Если сбился с дороги, то выехать на нее снова в такой падере почти невозможно. Не останавливая трактор, Илья Петрович еще какое-то время ехал вперед, надеясь, что вот-вот увидит бровку, но ее не было. Не было.

Он закричал прямо в смотровое стекло, в падеру, в шум мотора, закричал изо всех сил: «Господи! Да разве так можно?! Гадство! Десять раз сдохну — оставь их!»

Потом опомнился, подал трактор влево, старался все время держать влево, чтобы получался большой круг,

только так еще можно было выехать на дорогу. Попытался считать эти круги, но тут же сбился, понял, что и кругов не получается, догадывался, что крутится где-то на бугре, потому что в низине давно бы застрял в целике.

Сколько времени это продолжалось — не знал. Совершенно отупел и, когда увидел бровку, даже не обрадовался. Руки одеревенели, и рычаги он дергал, не видя их.

В больницу приехали перед утром. Колька даже не открывал глаза и уже не сучил ножонками, лежал, безвольно откинув набок головенку, покрытую белесым, редким пушком. А Ванюшка, когда его развернули, кашлял, синел лицом, едва отдышался и сразу потянул ручонки — пама, но сил не хватило, уронил ручонки и виновато улыбнулся.

Ребятишек раздели и унесли. Ушли Марья Степановна с фельдшерницей. Вспыхнул свет сразу по всему коридору, засновали люди, какая-то женщина в белом халате натолкнулась на Илью Петровича, оглядела сверху вниз: от старой мазутной шапки с опущенными ушами до больших расшлепанных пимов, выговорила:

— В таком виде в больницу. Думать надо.

Илья Петрович тихо вышел в прихожую, закрыл за собой дверь. Он сидел на скрипучем деревянном диване, на котором краска была вышоркана добела, и этот диван, готовый вот-вот развалиться, его ненадежные ножки, из которых вылезли гвозди, очень запомнился ему в той ночи. Илья Петрович боялся заснуть, ему казалось, что, если он только приляжет на диван, тот сразу под ним развалится. Не уснул. Видел, как за матовым стеклом двери сильнее забежали тени, потом пронзительно закричала Марья Степановна. Он вскочил, рванул дверь, кинулся по коридору на этот крик и не добежал, потому что навстречу вынесли Ванюшку. Лицо у него было синее.

Илья Петрович повез сына домой на своем тракторе, осторожно уложив маленькое тельце на сиденье.

А погода наладилась, сверкало солнце, дробилось на завитках сугробов, и от них ярче, резче проступали голубые тени. В тот день был праздник Советской Армии, и навстречу по крутояровской улице катились веселые компании с баянами и гармошками, люди пели и плясали прямо на дороге, и все были освещены ярким солнцем. В кабине трактора было темно, у Ванюшки на лбу и возле глаз сильнее обозначились темные пятна.

Зачем он так научился улыбаться и говорить «пама»?

До сих пор осталась эта боль вместе с мыслями о живущих, не в голове, а внутри где-то, в самой середине, и не будет, видать, никогда отдыха. До поздней ночи не спалось, догадывался, что Марья Степановна тоже не спит, хотя дышала она ровно и почти неслышно.

5

Утром Василий заехал за ним.

Илья Петрович, не зная, за что схватиться, засуетился, как мальчишка, которого давно обещали взять с собой в поле и вот взяли, а он ошалел от радости, что его не забыли, разбудили вовремя.

Яркий свет солнца, рождаясь за далекой кромкой бора, набирал разбег, все быстрее бежал по полям, черным и желтым, по крутым увалам, на которых густо лежал палый лист, по балкам, по дорогам, еще не пылящим, по колкам, они становились прозрачными, будто отрывались от земли и парили в воздухе, ярко высвечивал изгиб речушки, обмелевшей за лето,— добрая все-таки стояла погода.

Журавлиха давно проснулась. Возле мастерской загудел комбайн, как большой серый жук, он выползал на дорогу, она вилась к полю, огибая колок, туда, где ровные валки прямехонько убегали к самому краю неба.

Все это виделось и слышалось Илье Петровичу словно впервые, словно только сегодня родился он и увидел, ошарашенный от удивления, свою деревню и округу. Сидел рядом с Василием в газике, не отрываясь, смотрел, и у него действительно было чувство, похожее на то, когда он впервые с отцом ехал на покос. Такой новью, такой радостью окатывало его, а отец передал ему вожжи, сам, свесив ноги с телеги, сидел рядом и покуривал. Помнится, густо краснело по обочинам дороги татарское мыло, оно забивало все остальные цветы, словно одно пламя. Утренней прохладой тянуло от берез, ни один листик на них не дрожал, и пыль за телегой долго висела, не опускаясь. Даже сейчас недлинный путь до покоса помнился во всех подробностях. Прижмурь глаза и сразу увидишь.

— Ты поосторожней там,— прервал его мысли Василий.— Сильно не убивайся, без тебя есть кому.

— А вот и некому, раз комбайн стоит,— осерчал Илья Петрович.— Как сговорились! Тормози вот тут, я до МТМ пешком дойду.

— Погоди, довезу.

— Не велик пан, сам дотопаю.

Василий затормозил, подождал, когда выйдет отец, и, поворачивая назад, подумал: «Эх, батя, батя... Если бы все такие!» Ему хотелось сейчас быть рядом с отцом, бежать, как в детстве, за ним следом, подавать ключи, гайки, с удовольствием, хоть и без нужды, мазать руки мазутом и ждать скупой похвалы. Но куда побежишь? Своих дел выше глаз.

Илья Петрович проверил комбайн, посмотрел подборщик — работы было на полдня. Вытащил из кабины старую фуфайку, расстелил ее на мазутной земле, достал инструменты. Скоро на помощь подошел слесарь из мастерской. Пропала суетливость, все пропало — только гайки, да ключи, да знакомый, горьковатый запах бензина и мазута. Подборщик отремонтировали

еще до обеда. Слесарь угостил его папироской и подался обратно в мастерскую. Илья Петрович сложил на место инструменты, отряхнул фуфайку и по мостику, цепко хватаясь за поручень, залез в кабину. Весь мир опустился чуть ниже его, будто он оказался чуть выше всех. Взревел мотор, комбайн задрожал и задымился слетающей с него пылью, которая лежала толстым слоем. И вот теперь-то Илья Петрович окончательно успокоился, душа у него встала на место.

На земле было солнечно, тепло, совсем пропали остатки вчерашних туч, и еще издалека виднелось поле, охваченное зубчатым полукольцом комбайнов, они сжимались, поле таяло. Шныряли машины. Гудело. Этот слитый, мощный гул слышался даже сквозь шум мотора. Вытягивались все дальше, в обе стороны, ряды соломы, раскидываясь от одного края поля до другого, серыми клубками таскалась за комбайнами пыль, и совсем посторонней, совсем ненужной, даже смешной казалась здесь смирная лошадка, на которой привезли воду, она прядала ушами, помахивала хвостом и тянулась все ближе к березам, в тень.

Над полем, над комбайнами, над смирной лошадкой, над колками плыл, покачиваясь, журавлиный клин, скользил, напрягаясь, уже усталый, но упорный,—на юг. Журавли картаво кричали, но их на земле никто не слышал. Не слышал и Илья Петрович, он только поднял ненадолго голову и заметил, что поверху клина, в синеве неба, тянется белая полоса реактивного самолета, тонкая, густая на острие и широкая, дырчатая у основания, там, где она таяла и исчезала. Самолет, невидный с земли, уходил вверх, но в ту же сторону, что и журавли.

Илья Петрович резко опустил взгляд, прищурился и подвел комбайн к крайнему валку. Закрутился, заблестел пока еще пустой подборщик, уткнулся в первые стебли пшеницы, врезался глубже, поднимая валок и

набрасывая его на себя, полетела из бункера polvo, пыль — руки, лицо, плечи сразу запорошило. «Ну и добро, — пораздовался он тихо. — Ну и добро».

6

Вот, оказывается, чего не хватало ему, вот почему он маялся вчера. Не хватало подрагивания комбайна, напoлзающего на подборщик валка, густого хлебного запаха, не хватало того самого, без чего жизнь, казалось ему, станет пустой и ненужной. В такие минуты, когда ладилась работа, когда шли без задержек машины, он боялся только одного — поломки. Это как по ногам бегущего палкой.

Комбайны стирали валки. Следы машинных колес, проложенные по свежей стерне, вспыхивали под солнцем блестящими дорожками. Пыль плотно висела над самой головой, не отставала, не забегала вперед, только клубилась и опускалась вниз, укладывалась на одежде и на лице, скрипела на зубах. Пошел широкий, сдвоенный валок, комбайн начал давиться, не успевал все это пережевывать. Илья Петрович сбавил обороты, то и дело сдавал назад. «Хорошо хоть сухо, а то бы барабан забило, не выковырять». И даже эта простая мысль была приятна, как весь погожий день, как ладная работа.

Мужики жали на все железки. Даже обедали без разговоров и без шуток, на скорую руку. Хлеба на поле оставалось еще много, а солнце уже катилось на колок, подсвечивало его верхушки. Темнота, как это обычно бывает осенью, упала неожиданно, и ее тут же порезали на куски лучи фар. Поле не утихало, работало.

В это время, прищуривая усталые за день глаза, Илья Петрович вдруг понял, что силы у него не те, не ранешние. Все тело становилось чужим, плохо слушалось. Руки, лежащие на руле, затекали, наливались в плечах

тяжестью. Вспомнились слова молодого врача: «Организм изношен...»

«С железом всю жизнь, оно и вытянуло силенку. А так ведь разобраться, пятьдесят с хвостом — разве это годы для мужика? А все, отпрыгался. Жалко. Сейчас бы только и работать, вон какую силищу на поле нагнали, трещит все. Жалко».

Голова закружилась, и на минуту он почувствовал, что теряет самого себя, не знает, где находится, словно летел. Понимал, что надо остановиться — недалеко ведь и до греха, — все-таки не останавливался. Напрягался, снова видел впереди валок, ползущий навстречу. Шла пшеница, молотилось зерно, сыпалось в бункер с легким шорохом, которого он никогда не слышал из-за гула мотора. А ведь есть этот шорох, странно, что никогда не услышишь.

Гудели комбайны, мелькали машины, огибая ряды соломы, и темнота то расступалась перед ними, то смыкалась за ними тесно и цеплялась за землю. Не было ей сегодня покоя. Иногда огромные длинные лучи подскакивали вверх, тыкались в далекое пространство и падали, будто были привязаны.

Комбайн пошел легче, быстрее, значит, валок кончился, а он этого и не заметил. То ли глаза закрыл? Отъехал в сторону и заглушил мотор.

В тихой темноте, осторожно ставя сапоги на узкие перекладки лесенки, спустился с мостика. И лег на землю. Под его спиной захрустела, ломаясь, стерня, от земли шло тепло. Больно стучало сердце. Илья Петрович вспомнил, что часть сдвоенного валка осталась в стороне, у колка, он ее не успел подобрать, и теперь могут не заметить. «Сказать надо, чтобы не оставили». Он закрыл глаза и снова открыл их, увидел над собой низкое небо. Оно предвещало скорую непогоду и хмурые дни, но сейчас это было уже не страшно. Даже если сегодня пойдет дождь — не страшно. Последнее домо-

лачивали комбайны, затихали один за другим, и поле отходило в покой, в темноту.

Земля берегла его, лежащего на ней, согревала своим уходящим теплом и даже крутилась медленней, едва-едва, чтобы не было ему плохо. Он почувствовал это и поверил: пока бережет его земля, пока он на ней нужный работник — он не покинет ее. Не столкнет никто, как бы ни хотел.

Донеслись испуганные голоса, кто-то кричал:

— Матушкин! Матушкин! Илья!

Потом к этому голосу добавился другой:

— Где, где, я спрашиваю?

Илья Петрович узнал, что кричит Василий. А вот, кажется, и бегут к нему. В свете автомобильных фар тень старшего сына была огромной, неслась, прыгая через кучи соломы.

— Батя! Что случилось? Машину сюда, скорей!

— Ну, чего всполошились? — Илья Петрович отвел руку от своего лица. — Устал, передохну вот. Там валок у колка оставил, скажи, чтоб не забыли. Вот. Я сейчас встану, полежу и встану.

А вставать ему не хотелось, боялся оторваться от земли.

Он еще будет ходить по ней, делать свои дела, еще придут яркие весны и спелые осени, но ему уже не придется ни сеять, ни убирать на этом поле. За минуту не надышишься. Все равно.

— Дай-ка руку.

Поймал крепкую, сильную руку сына, оперся и встал.

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Тепла все не было.

Ждали, что после майских праздников оно обязательно придет. Слушали сводки и ругались. После май-

ских праздников выпал снег. День он таял. Пашня, распластанная острыми плугами, пустовала. Потом лупанули по ней холодные дожди со свистящим северным ветром, который гудел в голых колках, трепал серые березовые ветки и сморщенные листики.

Припало небо к дальним буграм, не давало полям света. Неуютные, холодные, пустые, открывались они любопытному глазу, и страшновато было оказаться в них одному под сквозным ветром, под жестким дождем.

Будто случилось что-то на большой земле, будто сорвало держак и крунулась она сразу в глухую осень, через яркую весну, через теплое лето. Но в положенное время распустились на опушках бора, на полянках подснежники, напомнили, что на календарных листках — май.

А тепла все не было.

В шесть утра началось районное радиосовещание. Все, кто сидел в кабинете у председателя колхоза, молчали и бросали изредка взгляды в угол, где стоял белый динамик. Из него с резким потрескиванием раздавался голос секретаря райкома. Нажимая на букву «р», тот говорил, словно рубил дрова:

— По прогнозам, хорошей погоды не будет до конца месяца. Ждать больше нельзя. Все прекрасно знаете, что поздний сев — это гибель хлеба, всего урожая в осенние заморозки. Некоторые руководители запаниковали: трактора тонут в поле. Думайте. Принимайте меры. За каждый случай нерасторопности, за каждый день промедления будем строго спрашивать, вплоть до партийной ответственности. У меня все.

Сухо щелкнул динамик и замолчал. Главный агроном Василий Матушкин, который сидел к нему ближе всех, тяжело вздохнул и ссутулился.

— Что, Василий Ильич, круто берутся? За ними не

заржавевает,—председатель колхоза Максимов пошевелился на стуле своей громоздкой тушей, и стул отозвался протяжным, противным скрипом.—Ну, ничего, как-нибудь. Сейчас все давайте на пятое поле, во вторую бригаду, запустим один агрегат, посмотрим, что получится.

— Алексей Иванович! — бригадир второй Базылев соскочил с места, замахал руками, узенькое лицо, почти наполовину закрытое большими очками, сморщилось.— Да как выезжать? У меня трактор вчера на пахоте увяз, вы представляете, гусеницы в няше утонули.

— Не в няше, Базылев, а в грязи, техникум все-таки кончил.

— Да при чем тут техникум?

— Да при том, Базылев, что ты со страху все забыл. На тебя люди смотрят, а ты как мокрая курица. Все! Едем во вторую.

Все вместе вышли из конторы под мелкий, сеющий дождик. Земля уже не принимала в себя влагу, на улице, посреди черной и жидкой грязи, расползались большие лужи, ветер гонял по ним мелкую рябь. Все промокло, посерело. И, как часто бывает в такую погоду, людей тянуло в сон, в тепло, они зябко передергивали плечами, позевывали. А Василий никак не мог избавиться от одного воспоминания, оно не отставало, как привязанное: давно, еще в девятом классе, он подвернул ногу и целую неделю пролежал дома. Кровать стояла в сенках, он лежал на ней под стеженным одеялом и шубой, в обволакивающем сонном тепле, а было уже холодновато, и шелестел по крыше вот такой же дождь, долгий и мелкий. Василий читал, и не хотелось даже вытаскивать из-под одеяла руку, чтобы перевернуть книжную страницу, он их перелистывал языком. Тогда казалось, что все это так и останется: сухие, чистые сенки, тепло постели и тихое блаженство от сознания, что рядом, за стеной, холодно и мокро, а под ногами

хлюпает грязь. И сейчас ведь кто-то читает, нежится, ни о чем не думает.

Василий, расшлепывая резиновыми сапогами лужу, почти побежал к своему газику, обляпанному грязью до самой верхушки тента.

— Василий Ильич! Меня подождите! — Базылев торопился и запинаясь, длинный плащ путался у него в коленях. Забрался в кабину и цепко ухватился за ручку. Василий ездил всегда быстро, и худенький Базылев подскакивал на кочках, как мячик, с его узкого лица не сходило выражение растерянности и даже какого-то испуга. Такое лицо у него было всегда, когда его ругали, а ругали часто: он моргал и пытался оправдываться, но его не слушали. Только грозили снять с работы и не снимали: не было больше таких покладистых бригадиров, которые расшибались в доску, выполняя приказ начальства. Его и нельзя было представить другим, а только таким вот — мелко перебирая ногами, бежит то на ферму, то в мастерскую, летом фуражка, а зимой шапка всегда на затылке, лоб вечно потный, и вытирает он его рукавом.

Выехали за деревню, на трассу, потом круто скатились с нее на размочаленную полевую дорогу, она виляла, прижимаясь поближе к колкам. На повороте Василий не успел затормозить, колеса гастика ахнули в яму, из-под них так плюхнуло, что ветровое стекло сразу стало непроницаемо-грязным. Пришлось останавливаться и протирать его тряпкой. Мимо, на полном ходу, проскочила председательская машина. Базылев проводил ее тоскливым взглядом и пожаловался Василию, когда тот снова сел в кабину:

— Разнесет он седни меня по кочкам. «Кировец»-то один стоит.

— Как стоит?

— Да так. Парамыгин отказывается. Вчера весь день пробуксовал, злой приехал, мать-перемать, а седни сов-

сем как тигр. Машину ему не продали, он вчера и узнал. Зоотехнику которую отдали. Вот и на дыбы теперь. Я, говорит, научу вас.

Василий ничего не ответил, представляя себе разъяренного Парамыгина: ноги широко расставлены, фуфайка расстегнута, жесткие черные волосы растрепались, он то и дело проводит по ним огромной пятерней, ругается хриплым, срывающимся голосом. Раньше у него был громкий бас — только в опере петь, но Парамыгин простыл, что-то случилось с горлом, теперь хрипит. Но ругается по-прежнему и молчит лишь тогда, когда сидит в кабине трактора.

— Вот, приехали, — бормотнул Базылев и заерзал.

Впереди показался полевой стан: маленький рубленый домик, зеленый вагончик, где была кухня, ограда вокруг колодца, два «Кировца» и несколько гусеничных тракторов с прицепленными к ним сеялками. Навстречу подъезжающим машинам шел в расстегнутой фуфайке Парамыгин. Несмотря на дождь, на голове у него не было ни шапки, ни фуражки, мокрые волосы слиплись и торчали сосульками. От его быстрых, сердитых движений, от размашистых шагов пахло скандалом. Так оно и получилось.

Едва только Максимов вылез из машины, как Парамыгин, не здороваясь, отрубил:

— Бросаю трактор! Забирайте. Пусть зоотехник на нем вкалывает.

— погоди, ты чего? — Максимов вдруг начал застегивать плащ на своем большом животе. — Белены покушал?

Парамыгин угнул голову, сдвинул свои лохматые брови:

— Ты со мной дурачка не играй, Алексей Иваныч! Осенью что мне говорил, когда я полторы тыщи гектар наворочал? На таких, как ты, Парамыгин, у нас все держится! Машину мы тебе в первую очередь!

— А ты что, из-за машины работаешь? Или зарплату тебе не платим?

— Да на черта мне ваша машина! Я без нее жил и еще столько же проживу. Обидно мне! Понимаешь? Я пятнадцать лет здесь землю ворочаю, а тут сопляк какой-то приехал, без году неделя, нате, дорогой, чего изволите. Да он еще зарплату свою не отработал.

Обычно запал у Парамыгина проходил быстро, он остывал, и тогда можно было разговаривать нормально. Этого и ждал Максимов, заговорил, осторожно подбирая слова:

— Ты меня тоже пойми. Он толковый специалист, надо же его удержать.

— А меня, выходит, держать не надо? Вот пусть он вам и сеет.

Парамыгин круто повернулся и подался по дороге в село, угнул голову, размахивал руками, откидывая полы фуфайки. Лицо у Максимова быстро и густо побагровело:

— Вернись! Я кому сказал?! Вернись, Парамыгин!

Тот даже не оглянулся. Шлепал по грязи, размахивал руками.

— И черт с тобой! — грозил ему вслед пальцем Максимов. — Еще придешь. Я тебе это припомню.

Он тяжело отдыхивался. Василий и Базылев, не сказавшие ни слова во время этой короткой, стремительной перепалки, тоже смотрели на дорогу.

— Вот гусь! Базылев, где остальные?

— Да вон идут уже.

Из дома выходили Николай Матушкин и сеяльщики, прищуривая глаза, посматривали на небо и ежились под дождем. Максимов поздоровался, помолчал, чтобы успокоиться.

— Вот так, ребята, сеять сейчас будем. Николай, зерно засыпано?



— Все готово! А где Парамыгин?

— Пописать в колок пошел. Базылев, срочно на трактор кого-нибудь посади.

— А кого?

— Из мастерской, хоть Гуляева. Николай, заезжай.

Черное поле начиналось в нескольких метрах от полевого стана, мокрой и даже на вид холодной была земля. Рыкнул «Кировец», с посвистом потащил за собой красную гряду сеялок. Колеса на пахоте сразу заметно провалились, но трактор не остановился, хоть и грузно, подался вперед.

За сеялками лег свежий широкий след. И все, кто сейчас смотрел на сеялки и на трактор, примолкли в ожидании. Всем хотелось, чтобы этот свежий след на мокрой земле тянулся дальше и дальше, через все пустое поле.

— Вроде бы ничего, а? Василий Ильич?

— Пока ничего. Боюсь, что диски забьет.

На середине поля трактор стал двигаться медленней, тяжелее, диски сеялки буровили перед собой мягкую землю. Трактор встал и заглох, резче слышались теперь свист ветра и нашептывание редкого дождя. Когда подошли ближе, слышали, как сеяльщики, парнишки эспэтушники, тихонько поматеривались, очищая диски. Самих дисков не было видно, только комки тягучей грязи с прилипшими к ним желтыми зернышками пшеницы.

— Э, я вот губам! Ишь, большие мужики! — крикнул Николай на помощников, присел, поскоблил пальцем грязь, тихонько свистнул.

Молча смотрели на диски Максимов с Василием, сзади топтался Базылев в своем большом шуршащем дождевике.

— Диски надо снимать, Алексей Иванович.

— А если и так не пойдет?

— Пойдет.

— Тут у нас парень вчера был, говорит, что в каком-то колхозе вручную сеют и с самолета.

— Теперь уж у нас, Николай, знатоков таких не найдешь, чтоб вручную. А чтоб с самолета, еще не слышал. Хотя, припрет — и так будешь. Ладно. Василий Ильич, вызывай летучку, снимайте диски. А я в первую поеду. Будем сеять. Главное, что трактора не тонут.

Подошла летучка. На ветру, под дождем, стали снимать диски. Глухо позвякивали о мокрое железо ключи. Николай, как всегда, одет был в чистенький комбинезон, поверх него фуфайка с самодельным капюшоном, на ногах неразношенные еще кирзовые сапоги. Все сидело ладно, все было подогнано, и, чтобы не запачкать колени, он клал на землю чистую тряпку. Василия раздражала аккуратность и неторопливость брата, хотелось прикрикнуть, чтобы шевелился быстрее. Но подгонять его было бесполезно: поднимет глаза, посмотрит, как на пустое место, и опять за свое.

Базылев все не возвращался. «Интересно, кого он найдет, — думал Василий, глубже засовывая руки в карманы штормовки. — Простоит трактор. Никого ведь свободных больше нет на «Кировец». Разве что Гуляев».

— Готово. Заводить?

Николай, отряхивая тряпицу, оглядывал сеялки.

— Заводи.

Ветер рванул с новой силой, жестко ударил каплями дождя по лицу.

— Черт возьми! Да сколько можно! Он что там, опупел?

Пожилой механик Семеныч задрал голову вверх и отчаянно погрозил небу разводным ключом. Парнишки-сеяльщики покатывались со смеху.

— А ну кончай. Давай на место.

Николай уже поднимался в кабину, уверенно и неторопливо ухватываясь за поручни. И хотя момент был совсем неподходящим для смеха, даже для улыбки, Василий вдруг захохотал, громко, отрывисто.

— А ты, Семеныч, запусти ключом, по лысине его, несознательного.

— Если б помогло, я бы все железо поскидал.

Снова зазвучал над полем тугой свист «Кировца», сеяльщики снова вскочили на подножки, и снова легла свежая, широкая полоса, она тянулась и не прерывалась, придавала мертвому полю живой вид. Трактор благополучно сделал гон, развернулся, двинулся обратно.

— Поехал вроде,—облегченно вздохнул Семеныч за спиной Василия и, по-стариковски кряхтя, стал собирать инструмент.

— Семеныч, давайте остальные сеялки тоже. побыстрей.

— Сделаем, куда денемся. Нам только разозлиться.

Базылев все не возвращался. Шарился по земле, как на ощупь, мелкий дождик, не прекращаясь и не набирая силу. Дальние колки скрывались в серой мути, она заволакивала горизонт, не двигалась, густела. От этой ее густоты, от низкого темного неба, от холодных редких капель, которые попадали на лицо, людям становилось одиноко, неуютно, становилось даже жутковато от сознания своей беспомощности — ведь что ни сделай сейчас, ничем не поможешь, ничем не изменишь цвет неба и не нагреешь воздух.

Василий на все пуговики застегнул свою штормовку, поежился, еще раз глянул на поле и пошел к машине. Он ехал в первую бригаду и думал, что Максимов уже, наверное, все там сделал, думал и все равно торопился. Гнал газик по разбитой дороге мимо черных полей, мимо серых колков, мимо прошлогодних скирд соломы,

далеко разбросанных друг от друга, гнал, словно пытался кого-то настигнуть.

Парамыгин дошел до своего дома и остановился. От быстрой ходьбы он вспотел и дышал тяжело, с хрипом. Долго стоял, распахнув фуфайку, чтобы остыть; холодный ветер обжигал лицо, голую грудь через расстегнутый ворот рубахи и покрывал тело гусиными пупырышками.

— Вот так вот.— Парамыгин оглянулся, аккуратно прикрыл за собой калитку.— Повоевали, дрыть твою за ногу.

Холодок пролез к телу плотнее, заставил зябко передернуть плечами. А Парамыгин все стоял у калитки, широко расставив ноги, не зная, куда идти. Наверное, лучше всего в дом. Раздеться, лечь в кровать и уснуть, заспать все. Он уже начинал жалеть о случившемся. Так с ним бывало часто: после скандала ругал себя, что заварил его. «Может, вернуться, пока не поздно?» И хотя сам с собой соглашался, сам же прекрасно знал — не вернется. Будет ждать, когда за ним придут.

— Да пропади оно все пропадом!

Махнул рукой, словно отрубал сомнения, и поднялся на крыльцо.

Дома никого не было — ребяташки в школе, жена на ферме. Парамыгин разогрел суп, неохотно и долго, лишь бы время убить, хлебал его, водил ложкой по дну тарелки и никак не мог сообразить — чем ему заняться. Потоптался посреди кухни, полистал свежий журнал, прилег на диван. Но сон не шел. Как ни уговаривал себя Парамыгин, как ни старался ни о чем не думать, уговорить себя не мог, и думал. В первый раз он бросил трактор. Сейчас уже не рад этому, с надеждой ждал, что вот заявится кто-нибудь из начальства. Парамыгин и там, на стане, ждал, что его догонят и попро-

сят вернуться. Попросят, а не прикрикнут. Не догнали, не попросили и сейчас не идут.

Как пригоршню мелких камушков, ветер бросил в окно крупные капли дождя, они тенькнули, покатались извилистыми полосками. Парамыгин приподнял голову с подушки на этот звук. Долго смотрел на окно в извилистых потеках и видел дальше, за стеклами, тополя, голые и мокрые, а в просветах — черные куски поля.

Черное поле... Давно, в армии, довелось ему видеть неродящую землю. Их танк шел головным в колонне, по широкому укатанному тракту, который дрожал и осыпался по бокам от многотонной тяжести, навалившейся на него. Стальные коробки, круто разворачиваясь, фыркающая угарным дымом, сдирали гусеницами верхний слой гравия и скатывались на проселок. Стоял август, желтели кругом поля. От нагретой брони, от работающего мотора шел удушливый жар. На краю маленького леса, который рассекал большое поле наполовину, стояли солдаты оцепления. Сломанные, перегнутые, проплыли по броне тени деревьев, лес разом кончился, словно отрезанный, и теперь только одна черная земля оставалась перед глазами, впереди и по бокам, до самого горизонта. То там, то здесь клочками торчала обгорелая, помятая, тоже черная, а не зеленая трава. Все было перемешено железными гусеницами, изрыто, искорежено, возле больших, расхлестанных мишеней пятнами выделялись воронки, валялся сплюснутый алюминиевый котелок, и Парамыгин, подавая танк вправо, на исходную для атаки, мельком подумал, что теперь котелок совсем влипнет в чернозем, когда прижухнет его тяжелая гусеница.

Глуша все звуки на этом поле, подминая их под себя, танки рванулись развернутым строем вперед, вот уже ударили первые выстрелы, и снаряды, вскидывая вверх комки земли и пыль, густо усеяли разрывами горизонт.

А неподалеку, всего в каких-то пяти-шести километрах, за леском, ходили по пшенице упругие волны, от края до края. Могли бы ходить и здесь. Но, видно, долго еще земля не сможет заровняться, зажить, чтобы принять в себя зерно и вытолкнуть наверх тонкий росток.

Оглохшие, потные танкисты вылезали потом из своих железных коробок, падали возле гусениц, отдыхали. Хохол Оприщенко сидел на башне и качал рыжей головой:

— Хлопцы, сколько гарной земли пустует. Ее засеять — хлеба наворотит!

И все, услышав это от Оприщенко, из которого редко лишнее слово выдавишь, тоже посмотрели на ставшее уже привычным тактическое поле, выжженное, мертвое. И Парамыгин потом, бывая здесь, всякий раз сравнивал этот кусок земли с соседним, за леском.

И вот надо же, снова вспомнилось, похожее своим цветом на те черные куски, которые видны были из окна. Они безмолвно лежали, и он не мог на них смотреть.

Какой тут сон? До сна ли ему?

Вскочил с дивана, накинул мокрую фуфайку, кинулся в двери. Пробежал по ограде, замедлил перед калиткой шага, а дальше, вдоль по улице, поплелся совсем тихо.

После обеда, когда на сеялках сняли диски и попробовали без них, когда поняли — ждать больше нельзя, когда поверили, что на второй начали сеять, в поле выползли все агрегаты, какие были в колхозе. Словно удивляясь такой дерзости, перестал капать дождь, установилось затишье, в густом влажном воздухе глухо раздавались надсадные голоса моторов. Гусеницы и колеса, проваливаясь в мокрой пахоте, иногда с пробуксовкой, откидывая назад ошметки грязи, все-таки под-

скребали, подтягивали под себя сначала метры, потом километры пашни. Сеяльщики в шапках, в фуфайках казались издали серыми столбиками, мерзли на сквозном ветру, и одна только радость была для них в такой погоде — не задыхались от пыли.

Все быстрее, с каждым часом набирая скорость, раскручивалась посевная, шустрее, гуще пошли по дорогам, расплескивая лужи, зернопогрузчики, выбирались на полосу и там нередко садились на передние и задние мосты, до половины утопив колеса. Еще несколько минут машина дергалась взад-вперед, скрежетали скорости, мотор захлебывался, замолкал, и машина бесильно останавливалась. Шофер со злостью отбрасывал в сторону лопату и бежал к агрегату. Отцепляли сеялки, и трактор, развернувшись, брал на буксир погрузчик, дергал его изо всей силы, вырывая из топи, вытаскивая туда, где посуше, дрожал, как в ознобе, натянутый трос, и казалось, что еще немного — он лопнет, взметнется вверх концами. Но железо еще дюжило, оно было еще сильней цепкой хватки земли. Это уже потом, к концу, земля изматывает железо, оно потеряет былую крепость, начнет ломаться и рваться, неслышно и с грохотом, по-всякому.

Незаметно, уже после первых часов работы, когда люди начали делать свое дело, проходило чувство беспомощности, теперь они не вздыхали, поглядывая на небо, не ругали погоду, теперь на это не оставалось времени.

Уже под вечер Максимов с Василием встретились в председательском кабинете. На почте вовсю голосил динамик, и через раскрытую форточку хорошо слышалось:

Не надо печалиться,
Вся жизнь впереди...

— Ишь ты, надейся и жди...

Максимов пригладил седые волосы на своей крутолобой голове, пригладил обычным жестом — он широко растопыривал пальцы, проводил ими до самой шеи, пошире расставлял локти и смотрел тогда исподлобья. В эти минуты взгляд у Максимова становился по-особенному внимательным и все замечающим. Это уже все знали и побаивались, казалось, что он взглядом просвечивает человека насквозь.

— А у меня вот больше половины жизни позади, ждать нечего и надеяться не на кого. Уставать я стал, Василий Ильич, поездил сегодня, как на поленьях покатали. Фу-у-х! Ну, ладно. Времени у нас нет, сеять будем ночью. Раньше двух работу не бросать, на это надо мужиков и настраивать. Ужин на поле привезут, я команду дам.

— Горючего мало. На заправке крошки остались.

— Завтра договорюсь с бензовозами. Ты не беспокойся, главное, чтобы мужики работали. Да, Парамыгина нигде не видел?

— Не попадался.

— Вот страмец! Придет, никуда не денется.

— А по-моему, будет ждать, когда за ним придут.

— Ну уж вот ему — пойду я за ним. И чего, паразит, взъелся! Машину подождать не может.

— Да не в машине дело, тут принцип. Раз меня обошли, вот вам. Сами виноваты. Разбаловали людей, все как ребятишек пряничками заманиваем: одного новым комбайном, второго — премией, пятого еще чем-то. Забыли, что за совесть надо работать. Если Парамыгин завтра не придет, снимать его к чертям. Чтоб другим наука была.

— Ну, хватил куда!

— Не хватил. Без одного тракториста, Алексей Иванович, мы проживем. А вот если все начнут ставить условия, тут нам и каюк.

— Василий Ильич, дебаты эти не ко времени. Толку от них не будет. Давай о деле.

Договорить Максимов не успел. Дверь широко распахнулась, и в кабинет влетела растрепанная продавщица Танюха Терехина. Прямо с порога посыпала:

— Слава богу, нашла управу! Идите, Алексей Иванович, разбирайтесь, у меня уже сил больше никаких нет. Стоят вон — как с ножом к горлу — давай водки. А как я дам, если вы запретили, идите, идите, они меня уж на десять рядов обматерили.

Максимов медленно поднялся из-за стола, разогнулся, поддернул сползающие с большого живота брюки. Уже на крыльце, вспомнив, окликнул Василия:

— Слушай, поедешь сейчас по бригадам, предупреди шоферов — не дай бог, кто смотается за водкой к соседям. Вышибу с машины сразу.

В магазине шумело несколько мужиков, был среди них и Парамыгин. Максимов глянул в окно и остановился послушать. Он слушал внимательно, чуть наклонив свою крупную голову, слушал так, словно говорили в магазине о чем-то очень важном для него лично. А мужики распалялись:

— Дожились, после работы выпить нельзя.

— Сам-то, поди, припас, весь холодильник забил.

— Ему надо будет, и в Крутоярово съездит, своя машина.

— Где она, пигалица, куда смылась?!

— Не будет вам никакой водки! — это уже техничка, которую Танюха оставила за себя. — Лишь бы шары залить. Добрые-то люди вон на поле работают. Ночью не спят.

— А я, выходит, хреновый, я, выходит, пятнадцать лет груши околачивал!

Максимов резко дернул на себя дверь и вошел в магазин.

— Ты, Парамыгин, хреновый. Твое место на тракторе, а ты ходишь рюмки сшибаешь.

Мужики разом притихли. Кроме Парамыгина, были здесь скотники с фермы, уже навеселе. Танюха, застегивая халат, прошла за прилавок, победно поглядывая на всех, но мужики теперь на нее не обращали внимания. Они смотрели на Максимова, а он все шарил в кармане плаща, словно искал что-то, и тяжело, зло отдыхивался. «Ну, черт возьми, разве мне это надо? У вас ведь тоже должно быть понятие. Глотку драть научились, права качать, а работать некому. Нахрюкаетесь, что из вас будет завтра?» Все это хотелось выкрикнуть им сейчас, но Максимов, наученный горьким и многолетним опытом, на крик не сорвался. Повернулся к Танюхе и спокойно сказал:

— Продай им водки. Кто сколько просит. Чтоб до отрыжки. Продавай.

— Алексей Иванович...

— Продавай, продавай.

Танюха сбросила костяшки на счетах, помешкала и со скрежетом вытащила из-под прилавка ящик.

— Подходите, что ли.

Мужики по одному стали выскальзывать из магазина. Остался один Парамыгин. Он раздумывал, решался. Вытащил из кармана деньги и бросил на прилавок:

— Две штуки мне.

Танюха выставила две бутылки, высыпала сдачу мелочью. Парамыгин неторопливо пристроил бутылки в карманы, пересчитал мелочь и уже от порога крикнул Максиму:

— Хреновый я, вот и сей с хорошими!

Шарахнул дверью.

Совсем стемнело, когда Максимов подъехал к своему дому.

Небольшой, но красивый и аккуратный снаружи, особнячок стоял как раз над речкой, на чутешном при-

горке, немного на отшибе от деревни. Но Максимову не столько нравился сам особнячок, как его большие окна. Из-за них в комнатах всегда было светло и солнечно. Дома он отдыхал. И сейчас, не зажигая света, присел на диване, с наслаждением вытянул ноги. Чуть внизу, вся в огнях, лежала Журавлиха. Яркие цепочки фонарей, провисая посредине, расчеркивали деревню на неравные части. Дальше, на поле, ползали по колкам и по земле отсветы фар. Они то пропадали, когда трактор опускался в ложину, то снова показывались и подолгу маячили. Это успокаивало, и Максимов медленно отходил от своей недавней злости. Он знал, что совсем она не пройдет, при случае вспомнится, но сейчас не хотелось об этом думать. Сейчас просто хотелось побыть одному, чтобы отдохнуть, чтобы завтра, спозаранку, снова быть на ногах. В последние годы, в редкие минуты такого отдыха, Максимов все чаще стал подумывать о пенсии, а нынче зимой уже оформил документы.

В районе он был самым старым председателем и, как все считали, самым хитрым. Даже смеялись, что он в туалет ходит с тяжелым сердцем — от этого выгоды никакой. Смеяться легко — а он действительно двадцать лет думает только о выгоде. Как началось, с первых лет председательства, так до сих пор и не отпускает. А началось круто и до страху опасно. Он, тогда еще инструктор райкома партии, проводил в Журавлихе отчетно-выборное собрание, уговаривал колхозников, чтобы те проголосовали за нового председателя, а про себя добавлял: «Со старыми дырами».

— Да знаем мы его! — кричали из зала. — Один колхоз развалил, теперь до нашего добирается. Вот уж дудки!

В полночь, когда Максимов совсем охрип, когда и колхознички тоже притомились, с задней скамейки поднялся какой-то дедок, брякнул:

— А чего тут судить-рядить. Давайте-ка товарища

райкомовского избере́м, все-таки у районной власти был, образованный, чем не председатель? Да и то сказать по правде, хрен редьки не слаще.

Договорить деду не дали, загалдели и стали голосовать.

А уже через несколько дней Максимов ехал принимать колхоз. Ехал со своим первым вкладом — через секретаря райкома выбил для поддержки старенький грузовик. Сидел в кабине, сам за рулем, высовывал голову и подставлял лицо под свежий, еще морозный мартовский ветер. По обеим сторонам дороги, уже черневшей, прихваченной солнцем, голубели оседающие снега. Все кругом было ясным. Казалось, и в работе все будет удачно, как с машиной, он был молодой, здоровый и думал по-молодому, с надеждой.

А когда приехал, ошарашили — ночью сгорело все сено, какое было в колхозе. То ли скотники случайно обронили самокрутку, то ли шальная искра долетела от крайней избы, впрочем, от зная легче не становилось. Сена не было. Тогда еще совсем молоденький Базылев (он после техникума был бухгалтером) сидел за столом в конторе и перекладывал папки с одного места на другое. Базылев оставался в эти дни за председателем, знал, что с него первого будет спрос. Лицо у него словно посыпали мелом.

На ферме уже начинали реветь коровы, пока еще не все сразу, пока еще не соединяли голоса в сплошной голодный рев, от которого бегают по телу мурашки. Но следовало ждать и этого.

Срочно собранное правление молча слушало, как кричат коровы, — ферма от конторы была недалеко. Толкового никто не предлагал, все знали, что в районе лишнего сена нет и просить не у кого. С надеждой смотрели на председателя. А он молчал. Максимов уже знал, что будет делать, но молчал. Не хотел пока лишних разговоров.

Сначала об этом знали только он и Базылев. А «это» заключалось в том, что часть колхозного зерна они выменивали на сено в леспромхозе соседнего района. Безо всяких документов, баш на баш. И хотя сена все равно не хватило, хотя снимали со дворов прошлогоднюю солому, прирезать пришлось немногих коров.

Потом они сидели с Базылевым, плечо в плечо, на заседании бюро райкома, и Базылев, все с таким же, белым, меловым, лицом, пытался оправдаться, говорил и говорил срывающимся голосом, пока его не оборвали. Домой он приехал бригадиром, а Максимов, едва не лишившись партбилета, с первым строгачом.

И все-таки так давно это было, так далеко осталось за плечами. Принарядилась, похорошела Журавлиха, постарел он сам. Его тело, не знавшее усталостей и болезней, вдруг запросило отдыха, словно хотело сказать: хватит, всему есть срок.

Село отходило в сон, только по полям еще ползали и ползали отсветы фар, не гасли. Максимов смотрел на них и незаметно уснул, неловко скособочившись на диване.

Свет «Кировца» далеко откидывал темноту, земля от света едва заметно дымилась, а может, это только казалось уставшим от напряжения глазам. Шел первый час ночи, поле глохло от непрекращающегося гула, покрывало густой темноты было в частых ярких прорехах. После ужина, переборов минутную осоловелость, Николай сейчас словно потерял ощущение времени, оно исчезло: голова была чистой, ясной, чистым был звук мотора. Ему всегда казалось, что трактор он чувствует руками, именно руками — и ничем больше, они же первыми узнают, что в большой стальной коробке раздался стук, что-то выходит из строя, нарушая установленный порядок.

Один гон следовал за другим, мерное, однообразное чередование утомляло, но Николай уже привык с этим справляться — следил, чтобы не заехать на посеянное, чтобы не уйти в сторону.

Сеяльщики у него сменились вечером, сейчас стояли тоже эспэтушники, двое близнецов Бобровых. Они были до того похожи друг на друга — даже родинки одинаковые, на правой щеке, — что звали их Саш-Миш. Оба коренастенькие, низенькие, толстоморденькие — ни дать ни взять, два боровичка на опушке. Николаю нравилась их молчаливость и обстоятельность и то, что они понимали его с полуслова.

Зерно кончилось. Трактор поморгал фарами, вызывая погрузчик. Николай соскочил на землю, подошел к сеяльщикам.

— Ну, как, живые?

— Живые, да толку нет, замерзли.

— Попрыгайте, разогреетесь.

Саш-Миш спрыгнули с сеялки, начали бороться. От колка стрельнул снап света, заподскакивал, приближаясь к трактору. Шел погрузчик. Вдруг свет пропал, появился снова, и следом донесся вой буксующей машины.

— Опять прилип. — Саш-Миш запрыгнули на сеялку, подняли голову. — Точно прилип. Отцеплять, что ли?

— Отцепляй.

Освободившись от сеялки, трактор быстро двинулся по пахоте. Погрузчик утонул в низине до самого буфера. Шофер понял, что без помощи ему отсюда не выбраться, и заглушил мотор. Николай развернул «Кировец», сдал назад и стал ждать, когда шофер прицепит трос. Тот мешкал, возился, время шло. Наконец зацепил. Мотор трактора задышал глубже, натянулся трос, и передок машины медленно стал подниматься, вот передние колеса выбрались из низины, трос ослаб и лег на землю.

— Ты что, не видишь, низина здесь?

— Да черт тут в темноте разберет. Вроде ровно, я и пошел.

— Вот и пришел. Сегодня не столько сеем, сколько вас вытаскиваем.

— Ну не вытаскивай, стой. Я тоже плюну да спать лягу.

— Ты поменьше говори, зерно засыпай.

Загудел погрузчик, из брезентового хобота, который руками придерживал Саш-Миш, неслышно посыпалось зерно. Резкий взмах руки, погрузчик отходил назад, брал чуть вправо, и брезентовый хобот снова свисал над очередным бункером. На прощанье шофер что-то громко крикнул Николаю, наверное, обругал его за нотацию, но тот не слышал, он был уже в кабине. И снова ему, когда трактор тронулся, показалось, что земля дымит под ярким, режущим светом.

Все тракторы, огибая колок, сбивались к одному краю, укорачивая гоны и приближаясь друг к другу. Поле кончалось, лучи фар тоже сближались, и кусок земли становился светлым, как днем. Простыня темноты зияла огромной дырой.

Когда ночь повернула на свою вторую половину, когда уже даже в кабине повеяло холодком, Николай почувствовал, что голова у него гудит, будто звук мотора отдавался в ней, то сильными, быстрыми, то слабыми, медленными толчками. Куда-то в сторону уплывало поле, до судороги сводило спину и плечи, правый угол мотора вдруг пополз вверх, он словно отделялся от земли своим желтым капотом, и огоньки приборов тоже смещались, уплывали. Николай встряхнул головой. Остановился. Из кабины было хорошо видно, как гасли кругом фары и темнота сразу проглатывала тракторы, они будто растворялись. Затихало поле, уходило в недолгий покой. Погрузчики помигивали на поворотах красными огоньками.

Николай осторожно сполз из кабины на землю и удивленно засмеялся — земля под ним качалась: медленно то опускалась, уходила из-под ног, то поднимала вверх, подпирала снизу, хотела его приподнять над всем, что было вокруг. А когда она прочно и сразу осела и когда все встало на свои места, оказалось, что очень трудно идти по пахоте.

Саш-Миш сидели рядышком, верхом на сеялке, и клевали носами. Они не слышали, как он подошел. Николай осторожно растолкал их, помог спуститься.

— Пошли, мужики, пошли...

Они казались ему маленькими ребятишками, которых надо пожалеть, а еще вчера были просто братьями Бобровыми, он их знал, но не думал о них.

Втроем пошли по засеянному ими полю на стан. Молча, тяжело дыша, по мягкой, проваливающейся земле.

Саш-Миш только скинули фуфайки да шапки и тут же уснули, даже не разобрав койки. Николай стянул с них мокрые грязные сапоги, поставил поближе к печке.

— Ты что, на воспитанье взял ребятишек? — спросил кто-то из трактористов. — Вон как устирал работничков.

Николай ничего не ответил. Разулся и вытянул ноги. Сапоги от мокрети отпотели, портянки были влажные, и кожа на ногах побелела, сморщилась.

— Ну погодка, — досадовал Семеныч, натягивая сухие носки. — Ужась одна. Я такого и припомнить не могу.

— Семеныч, а ты чего домой не поехал? Вон на машину бы да к старухе греться. Это уж нам завтра спозаранку.

— Э, я отдыхаю без старухи, а он гонит. Ну, и злыдень. У нас тут недавно скандал вышел, так я опасюсь. Сосед ходит, ноет, лайку ему сибирскую для охоты надо. Я говорю, давай продам. Глаза выпучил: откуда у тебя? Пойдем, говорю, покажу. Привожу домой, показываю на свою благоверную. Вот, говорю, самых чис-

тых кровей, чалдонских, только лает один раз в месяц, когда получку получаю. Ну и... ночью вот тут.

Мужики хохотали. Они хорошо знали, что Семеныч утром поднимется раньше всех и успеет, как он говорит, «пощупать» все тракторы и потом будет торчать здесь целый день, готовый сделать любой ремонт, останется до ночи и опять скажет: из-за старухи, придумав очередную историю.

Больше на разговоры ни сил, ни желания не оставалось. И через некоторое время, когда сюда приехал Василий, все уже спали. Тоненько выводил носом рулады Семеныч и все шарил во сне по одеялу рукой, словно искал нужную гайку.

Василий постоял, посмотрел на спящих мужиков и поехал домой. Возле подъезда оставил газик, поднялся на второй этаж. В квартире было по-ночному тихо, и только чуть слышно работал в зале телевизор, который жена забыла выключить. Босиком, на цыпочках Василий прошел в зал и прилег на диван, подумал: «Ни в какие ворота не лезет, сгорим с этим телевизором. Что за память?» Надо было еще подняться и выдернуть тройник из розетки. Но подниматься не хотелось.

«Все-таки выключить надо»,— подумал он еще раз и не встал.

С экрана, прямо на него устремив тоскующий взгляд, певица жаловалась на несчастную любовь, парни из оркестра печально вторили ей, зал потом неистово хлопал, и над всеми мелькали разноцветные лучи прожекторов. Далеким и непонятым казалось происходящее на экране Василию, особенно сейчас, на исходе суматошных суток.

«Все-таки выключить надо»,— подумал он еще раз и не встал.

А потом показывали войну, которая шла далеко отсюда. По дорогам, бросая скарб, бежали люди с ошалелыми от страха лицами, маленькие женщины, приги-

боясь от тяжести, тащили на плечах прямые коромысла, а вместо ведер сидели на подвешанных картонках ревущие ребятишки. Трещали выстрелы. Большие дома вскидывали вверх облака пыли и разваливались изнутри, словно были игрушечные. А по развалинам, по битому кирпичу, шел, спотыкаясь, малыш, и почти весь экран заняли его огромные глаза, в которых надолго поселились испуг и голод. Глаза боялись и хотели есть, это было ясно без всяких слов. Они так и исчезли с экрана, не изменив своего выражения. Диктор пожелал спокойной ночи.

Василий все-таки поднялся с дивана, выключил телевизор, но еще долго не засыпал, смотрел в потолок, в темноту, где едва заметно желтела подвеской люстра. Что-то давило, мешало спать. Подвеска люстры виднелась все яснее и яснее. Близился рассвет.

И опять утро не радовало. Хотя не было дождя и стих ветер, все равно не поднялось солнце, небо, плотно забитое тучами, по-прежнему жалось к земле. Везде было сыро, промозгло, холодно. Не верилось, что придет время и установятся погожие дни, а верилось, что эта хмарь навсегда. На тополе возле колхозной конторы раскачивалась на ветке большая ободранная ворона и каркала надсадно до тех пор, пока ее не пужнула палкой техничка.

С раннего утра, еще в потемках, Журавлиху разбудили моторы, и Парамыгин, прислушиваясь к их звукам, безошибочно определял: эта на поле, эта туда же. Все погрузчики с тока шли мимо его дома.

Он маялся головой и долго не поднимался, дожидаясь, когда жена уйдет на работу. Вот уже моторы загудели в обратную сторону, к току. Парамыгин не утерпел и выглянул в окно. Старый газик лихо влетел в лужу, рассек ее до дна, выскочил и скрылся за поворо-

том — Парамыгин даже не успел разглядеть, чья проскочила машина.

Стол на кухне был насухо вытерт, вся утварь по порядку расставлена, и все кастрюли пусты. Чайник оказался еще теплым, но в нем уже не было кипятка — жена специально вылила. Это на нее похоже. Парамыгин попытался вспомнить, как он вчера пришел домой, и не мог, будто вышибло кусок памяти. От этого становилось совсем муторно и тоскливо. Брала злость. И еще сильнее хотелось уйти, прямо сейчас, на поле.

Всего один раз он сидел без дела весной. В прошлом году оцарапал тросом руку, и пустяшная ранка вдруг загноилась, ладонь распухла. Целыми днями качал забинтованную руку и скучал на крыльце, на солнышке. Тогда к нему даже приезжал секретарь райкома. Парамыгин вначале растерялся, увидев возле ворот газик с нолями. Машинально вскочил и хотел было побежать, чтобы открыть ворота, поднялся уже, но сел. Оказывается, это приятно, когда не ты к кому-то идешь, а идут к тебе, и не кто-нибудь, а сам секретарь райкома. Следом за ним грузно переваливался Максимов.

— Что с тобой случилось, Федор Гаврилович? — спросил секретарь райкома, присаживаясь рядом.

Разговаривали они недолго, минут пять, но об этом разговоре, о том, что к Парамыгину первый приезжал, в Журавлихе говорили потом неделю. Пообещал он тогда осенью на пахоте поставить рекорд. И поставил. Почти сутки не вылезал из кабины трактора, перебуровил почти семьдесят гектаров. Он еще допахивал последние метры, когда учетчик побежал к мотоциклу. Парамыгин не знал до тонкостей всей кухни, только догадывался, но догадывался верно. Через несколько минут узнает Максимов, потом зазвонит телефон в райкоме, потом в газете, и через несколько часов уже в городе кто-то спешно будет собираться в командировку в Журавлиху. В ка-

ких только бумагах не промелькнет фамилия Парамыгина, напечатанная разными буквами.

Все это так и было. Максимов обнимал его и обещал, что первую машину, которую выделяют колхозу, купит Парамыгин.

«Неужели никто не приедет? — гадал он, меряя шагами кухню и все слушая — не стукнет ли калитка. — Ну и я не пойду. Черт с ними!»

Лет пять назад он сделал к сенкам маленькую пристройку из горбыля, в ней всегда, как бы туго ни приходилось, душа успокаивалась за немудреной столярной работой, от запаха свежих стружек и хрустящего звука рубанка. Он все делал для дома сам, потому что больше всего не любил никого просить.

Вошел в пристройку, плотно закрыл за собой дверь и остановился, не зная, за что взяться. Лежала в углу на верстаке недоделанная табуретка и начатая кадушка, валялся сломанный самокат младшего парнишки. И вдруг Парамыгин услышал, как стукнула калитка. Он отбросил в сторону рубанок, выскочил из пристройки, натягивая на ходу фуфайку, и никак не попадал левой рукой в рукав. Соседский черный телок с большим белым пятном на лбу уже стоял на деревянном настиле в ограде, притопывал задней ногой и гнул к земле голову, собираясь бодаться.

Парамыгин в сердцах так огрел телка палкой, что тот пулей вылетел из калитки на середину улицы, остановился и обиженно заревел.

Ждать уже не было никаких сил. Парамыгин пошел в контору к Максиму, но того на месте не было. До обеда топтался в пустом коридоре. И все зря.

Рано утром Максимова разбудил телефон. Спросонья, еще в трусах, он держал телефонную трубку и ничего не понимал.

— Кто звонит? Да объясните толком! Бавыкин? Ну так и говори тогда. Здорово. Слушаю.

И пока он слушал, лицо все сильнее хмурилось, лохматые брови сдвигались к переносице и придавали его наклоненной вперед фигуре свирепый вид. Казалось, он сейчас разразится криком в телефонную трубку — только вот еще немного послушает. Но голос у него был ровный:

— Ты по делу говори. Не заливай.

На правах старого председателя с Бавыкиным, начальником сельхозуправления, он был на короткой ноге, и тот его даже побаивался. Но на этот раз разговор вел непонятно игриво:

— Алексей Иванович, тебе нужный человек нужен?

— Мне горячее нужно. Если сегодня бензовозы не придут, сядем у моря погоды ждать.

— Хранилище надо строить, Алексей Иваныч, и раньше запасать, как добрые люди.

— Не молоти. Сам знаешь, что заправочную станцию своими силами строим — где что украдешь или выцыганишь. А старую разломали наполовину. Ты ведь не поможешь. Чего звонишь?

— Вот и спрашиваю: нужен тебе нужный человек?

— Говори толком, чего крутишь?

— Не кручу, а забочусь о твоём колхозе. Приехал тут товарищ один, кое-что ему надо. Ну, а за это он тебе емкости смонтирует в два счета. В Запсибспец каком-то монтаже, забыл, заворачивает. Деловой мужик. Но я про это ничего не знаю, понял, договорились?

— Да ты всю жизнь в стороне. Сам, наверное, с него уж что-нибудь сдернул, а расплачиваться ко мне сунул. Ладно, надежный он хоть?

— Надежный, я знаю. Короче, встречай, он уже к тебе поехал, прямо с вокзала.

Максимов положил трубку и выругался. На целый

день его выбивали из посевной. И нельзя было отказаться.

Шел по дороге в контору и, как всегда, любовался: в центре Журавлихи не осталось ни одного деревянного здания, левая часть села почти полностью застроена белыми кирпичными домиками. Контора, почта, Дом культуры. За все ему приходилось платить выговорами, стоять навытяжку в народном контроле, потому что за каждым новым зданием маячил нужный человек. И Максимов гнал в город, в Крутоярово мясо, мед, ягоды из колхозного сада, зная, что будет отдача, что все это пробивает даже самые толстые конторские двери сильнее всех бумаг. В районе гуляла его присказка, над которой все смеялись: «Ягоды и мед — продукты стратегические». Смеялись и завидовали. Потому что выговоры в конце концов снимали, а здания оставались. Вот они, можно подойти, рукой потрогать.

В новой, двухэтажной конторе еще стояла тишина, свежестью дышали только что вымытые полы, пока не затоптанные десятками ног, и в коридорах не шибал в нос привычный табачный дух. Максимов старательно вытер ноги о влажную тряпку и прошел в свой кабинет. На столе уже лежала готовая сводка за вчерашний день. Он натянул очки, глянул и не поверил. Тридцать восемь процентов было посеяно! Вызвал по селектору диспетчера:

— Вера, ты ничего не напутала? Тут почти сорок процентов.

— Сама сначала не поверила. Все правильно.

Он выключил селектор и долго сидел, уставясь в стол. Почти сорок процентов за одни сутки. В такую погоду, на такой земле. И первое желание, от которого Максимов едва удержался, было: сейчас же поехать туда, на полевые станы обеих бригад, глянуть на своих мужиков, найти для них добрые слова, пожать руки. Он вздохнул и красным карандашом жирно обвел цифру 38.

Она была для него словно живая, словно дышала. Отодвинул сводку и позвонил Василию, прямо на полевой стан, знал, что тот уже там.

— Василий Ильич, будешь за меня сегодня командовать. Тут один товарищ приезжает, короче, сам знаешь. Я уже поехал. Ладно, не шебутись. Бензовозы будут после обеда.

Нужный человек оказался здоровенным румяным мужиком со смешной фамилией Воробейчиков. Он весь светился, и это первое впечатление усиливали золотые вставные зубы, которые постоянно были на виду — Воробейчиков говорил и смеялся, смеялся и говорил. Чувствовал себя так, словно они с Максимовым уже давным-давно жуют один пуд соли.

— Ну-ка, чалдон-хлебосол, развернись, тряхни рукавами, глянем, что из них посыплется. А ты, Иваныч, еще орел. И по девкам, наверное, того... Мышкуешь?

Надо было подделываться под этот разговор и выбрасывать из головы все, что ему мешало.

— Да как сказать? Силенки не те, если уж сильно раззадорить.

— От друг, а! Ну, ты молодец, Иваныч!

— Куда сначала? Позавтракаем или в контору?

— Э, не пройдет. Серьезные вопросы надо решать на трезвую голову. Как там в молодости нашей пели? Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Так и мы. Давай сначала в контору.

В своем кабинете Максимов сразу насторожился, пригладил растопыренными пальцами волосы, исподлобья глянул на Воробейчикова. Тот сидел свободно, как у себя дома, курил и улыбался.

— В прятки, Иваныч, играть не будем. За месяц я тебе всю эту заправку смонтирую. Заплатить, конечно, придется моим мужикам, да ладно, не морщись, по-божески. А мне сейчас штук десять поросят надо, молочных, так сказать. Деликатес на стол. Понимаешь?

Но Максиму этого было мало, он привык подобные дела решать с точностью. И Воробейчиков просидел еще час в кабинете, пока все не обговорили, пока Максимов твердо не удостоверился — будет сделано. Надо только рискнуть. А это ему было не впервой.

К обеду десять освеженных поросят были упакованы в мешки, мешки стояли на свиноферме и ждали отправки.

— Давай-ка теперь в столовую. Я пельмени заказал.

— Теперь можно и обедать, — Воробейчиков показал вставные зубы и хлопнул в ладоши.

А в столовой гремел скандал.

Устроил его Парамыгин. Он вместе с другими мужиками стоял в очереди, но очередь не двигалась. Повара, повернувшись к ней спиной, торопливо лепили пельмени. Они опаздывали и даже не поворачивали головы, когда их звали.

Парамыгину надоело переступать с ноги на ногу, ведь топтался уже давно. Сзади кто-то плюнул и пошел, не дождавшись. Сначала Парамыгин просто стоял, даже не пытаясь узнать, почему не движется очередь, потому что заботы у него были совсем другие, поначалу он даже не замечал происходящего вокруг. Из этого состояния его вывел крик поварихи, она откликнулась наконец на вопросы мужиков в очереди:

— Да я что, наполовину разорвусь? Председатель сказал обед приготовить. Неясно, что ли! Погодите, не умрете!

Наклонила голову, и еще быстрее замелькала в руках пустая бутылка из-под коньяка, которой она быстро и сноровисто раскатывала сочни.

— А кому пельмени-то? — спросил Парамыгин.

— Кому, кому! Ясно дело, не тебе, — опять не поворачивая головы, отрезала повариха.

— Начальству кушать хочется, — отозвался кто-то из середины очереди. — А мы и без обеда пробегаем.

Парамыгина дернуло, он враз потерял способность слышать то, что говорит, и думать о том, что делает. Перегнулся в окошко, хлестнул кулаком по железным мискам, составленным одна в другую, и они с лающим звуком рассыпались по полу.

— А ну корми людей, халява! В гробу я твоего председателя видел, поняла! Вместе с начальством! Корми, кому говорят! Залезу, все переверну к чертовой бабушке! Чем они лучше, а?

Повариха проворно выскочила из-за стола и отскочила к двери, прижимая к себе измазанную в муке бутылку. И это должно было остановить Парамыгина, но он уже не мог остановиться. Его понесло.

— Ты для кого здесь сидишь? Для кого? Если начальство кормишь, значит, орать можно? Да ты когда, халява, научилась этому?!

Повариха попятилась, толкнулась в дверь спиной, исчезла. Две ее помощницы сидели за столом, не шевелясь.

— Парамыгин, брось, посадят еще...— кто-то потянул его за рукав.

В это время из двери, в которую скользнула повариха, грузно вышел Максимов. Он уже сидел с Воробейчиковым в банкетном зале и все слышал. Хмуро посмотрел на пельмени, на очередь, хотел сначала отругать Парамыгина, но промолчал.

Никто из людей, стоящих здесь, не был сильно голодным, и многие из них могли бы поесть дома, но все они сейчас были согласны с Парамыгиным, и все чувствовали то же самое, что и он, лишь с одной разницей — думали про себя, а если говорили — вполголоса. Они могли простоять и больше, они могли бы вообще остаться без обеда, но они не могли принять того, что их не замечали.

Дергая губами, Парамыгин в упор смотрел на председателя, а тот повернулся к помощницам поварихи:

— Это, кормите быстрее.

Помощницы, словно того и ждали, вскочили, засуетились по кухне.

— Понимаете, ребята, надо это... Для колхоза, не для меня.

Очередь стояла молча. Она словно быстро и незаметно отдалялась от Максимова — до нее уже было не докричаться. Он повернулся, шаркая ботинками по кухонному полу, выбрался на улицу, прижался спиной к холодной стене.

Не хотелось возвращаться в банкетный зал. Будто резали наполовину, на две части, и ни от одной нельзя было отказаться.

Максимов вернулся в банкетный зал. В окно он видел, как по улице, опустив голову, понуро плелся Парамыгин, то и дело оглядываясь на столовую.

— Слушай, что там за шум?

— Да так, перекушал один мужичок. Пока ждем пельменей, давай по соточке.

Это поле, зажатое с трех сторон колками, лежало в низине. Оно было пропитано влагой, как кусок хлеба в воде. Черно поблескивало и цепко хваталось за все колеса и гусеницы, какие пытались на него заехать. Тракторы не могли протащить сеялки, они грудили землю, скрипели. Глухой рев моторов долгим эхом отдавался в пустых колках, терялся и возникал снова. Кабины, гусеницы, сеялки — все было уляпано грязью. На одной из ближних берез сидел бурундук, вздрагивая темными полосами, и смотрел на машины. Никто его не замечал, и маленький бурундук осмелел, спрыгнул на землю, затаился, напружинив спину, готовый стригануть в любой момент. Ему было любопытно.

Люди уставали от упорства мокрого поля. Один трактор уже выбрался на пригорок и встал.

Базылев растерянно дергал руками, морщился и, сбиваясь, пытался объяснить:

— Третий час бьемся, видите, что делается! Чего тут придумаешь — доски бросать? Василий Ильич, да не засеять нам это поле сейчас. Выше головы не прыгнешь. Ждать надо, когда обсохнет.

Василий смотрел на маленькую, суетливодвигающуюся фигурку Базылева, на его сморщенное личико, на его высокие резиновые сапоги и понимал, что если он сейчас себя не сдержит — все пропало. Сквозь зубы процедил:

— Так какого же черта они у тебя третий час здесь? Почему здесь тракторы? Почему не перегнал?

— Команды не было.

Хрустнула авторучка, которую Василий крутил в руках, он ее еще раз переломил и выбросил.

— А голова тебе, Базылев, для чего дана? Ты что, не мог додуматься тракторы на другое поле отправить? Отправляй сейчас же.

— Я по плану, как говорили...

Путаясь в длинном плаще, Базылев побежал к тракторам, махал мужикам рукой, чтобы разворачивались. Василия злили и беспомощность Базылева, и его упрямое желание оправдаться, и внимательный взгляд через толстые очки, ждущий очередного приказа. Злили еще и потому, что вот уже больше суток не покидало его такое чувство, будто кто-то стоит в стороне и когда он, главный агроном, раскручивает машину посевной, этот «кто-то» специально бросает в нее палки, машина скрежещет и трясется.

— Еще раз, русским языком тебе говорю, за простой тракторов будешь платить по расценкам из своего кармана. Ясно?

Говорил, а сам понимал, что говорит не то, не так. Ждал, что Базылев возмутится, тоже поднимет голос, но тот слушал, даже не оправдывался.

— Поле-то оставлять будем?

— Сеять будем. Оставлять некуда. Где Семеныч? Найди срочно, пусть едет в мастерскую. Я тоже туда. Надо один разбрасыватель удобрений приспособить. Как-нибудь заташим. Загрузим зерно и пошел.

— А председатель?

— Что председатель?

— Он что скажет? После такого сева знаешь, какой хлеб вырастет?

— Или вообще ничего не вырастет. Ты разницу понимаешь, Базылев. Я сегодня за председателя, я тебе приказываю, понятно? Будем сеять разбрасывателем. Один колесник высвободи. Семеныча посылай в мастерскую.

Базылев суетливо поправил очки, пошел было, но вернулся назад.

— Что еще?

— Вы мне расписку дайте, Василий Ильич... Ну, это... что вы приказали сеять.

Стоял он и умоляюще смотрел на Василия. Маленький носик покраснел от холода, и большие очки едва держались на нем. Василий со злостью выдергивал из штормовки записную книжку, она не поддавалась, чуть не оторвал карман, Базылев стоял и ждал.

— Дай авторучку. Кто тебя напугал? Ты кого боишься все время? А, Базылев?

— Не понять тебе, Василий Ильич. Долгая история. Ну боюсь, боюсь я. Жить хочу спокойно. Что, нельзя, да?

— На, живи спокойно, держи крепче, не потеряй.

Василий черкнул расписку, сунул ее в протянутую базылевскую руку. Ладонь показалась ему противно холодной, и сам Базылев, съеженный под большим плащом, тоже был противен, хотелось обругать его. Василий повернулся спиной и побежал к машине.

Семеныч приехал в мастерскую следом за ним. Выслушал, почесал затылок и долго ходил вокруг разбрасывателя: попинает колесо, — второго не было — заглянет внутрь, вздохнет.

— Семеныч, побыстрей надо.

— Я ж не блох ловлю. Колесо надо поставить, сам видишь, транспортер наладить, он, по-моему, не крутится, ну и проверить.

Семеныч еще раз обошел вокруг разбрасывателя, скинул фуфайку, положил ее аккуратно на чурку и сел сверху, полез за папиросами.

— Езжай, Василий Ильич, к обеду будет готово. Только дай команду, чтоб мужики помогли, колесо чтобы нашли. Сделаем, не тужи. Нам только разозлиться, из хреновины конфетку соорудим. Эх, а вон и маршал мой топает. Ну, Василий Ильич, уноси ноги, тут дело может до кровопролития дойти.

По дороге к мастерской с большим узлом торопилась дородная супруга Семеныча. Еще издали она закричала:

— Сиди, вражина, не подымайся! Опять не жрамши! И когда я только от тебя избавлюсь!

Уже из машины Василий увидел, как супруга Семеныча развязывала узел, доставала оттуда кастрюлю и ложку. За разбрасыватель можно было не волноваться. Семеныч сделает. Теперь на заправку. В тесной конторке он долго звонил на нефтебазу, наконец там подняли трубку. Сказали, что бензовозы уже вышли, часа в четыре дня будут в Журавлихе. Еще одна забота отпала.

Василий размашисто вышел на улицу и вдруг остановился, пораженный еще не зная чем. Он только почувствовал: что-то изменилось вокруг, что-то случилось. Растерянно оглянулся и только теперь увидел — солнце. Еще неяркое, нетеплое, оно пробивалось сквозь лохмотья туч, высунуло из-за них свой бок и наконец-то

достало до земли, которая так долго ждала его. И сейчас, ухватив первые лучи, менялась на глазах. Светле-ла, становилась родней, ближе, уже не пугали аспидной чернотой недалекие поля, которые словно раздвинулись, стали длиннее и шире. А и всего-то надо было для этого кусочек солнца!

Оно обогрело и Василия. Ему так не хватало света в сплошной суматохе прошлого и сегодняшнего дня. Подумалось, что, кроме посевной, есть еще и другое, окружающее его,— просто есть вот это солнце. Нет, не то, что подсушит землю и ускорит срок сева зерновых, а то, от которого идет яркий свет, заставляя прищуривать глаза, и что, пожалуй, не стоит так злиться на Базылева, интересней вспомнить другое — как он по-правдаш-нему кукарекает петухом и хрюкает поросенком. До того по-правдашнему, что однажды — дело было в поле — Василий никак не мог понять: откуда здесь петух и поросенок? И только потом заметил за копной «Урал». В коляске сидел сынишка Базылева и, приоткрыв рот, влюбленно смотрел на отца, смеялся до слез.

И уже не хотелось сломя шею нестись на машине дальше, хотелось тихо и осторожно съехать в сторону, возле колка, найти там какую-нибудь березку в низинке и припасть к ее черной, расколовшейся внизу коре прошлогодней соломинкой, почуять во рту свежесть и сладость древесного сока, уже затихающего в своем на-поре, и потом — послать все к черту! — лечь спать прямо в кабине газика.

Он усмехнулся и заторопился к машине, ясно понимая, что не попить ему нынче, как и в прошлый год, безрезовки.

На чем свет костерили мужики Базылева и переезжали на другое поле. Время было потеряно. Все торопились. И у всех видна была эта спешка, нервозность.

Следующее поле катилось ровнехонько километра на три, без колков. Есть где развернуться. И снова повторялось вчерашнее. Длинные гоны, развороты, остановки, когда то заправляли сеялки, то отцепляли их и вытаскивали погрузчики. Повеселели, увидев солнце, кто-то из шоферов даже посигналил с радости. Быстрее, сноровистей пошла работа.

Солнце ударило в кабину Николаю, разом ее осветило и заставило зажмурить глаза. Трактор тащил сеялки поперек пахоты и потихоньку покачивался, словно на воде, поскрипывало пружинами кресло, и этот негромкий, почти домашний скрип различался в шуме мотора, было приятно почему-то, что в сплошном гуде и посвистах на поворотах не теряется этот простенький звук. Вообще-то Николай терпеть не мог, когда в тракторе что-нибудь дребезжало или звякало, и он мог остановиться посреди полосы, среди дороги, чтобы избавиться от лишнего, ненужного звука. Мог убрать и этот скрип, но оставлял — приятно было слышать и другое, кроме мощного моторного рева: от силы, оказывается, иногда тоже устаешь.

Изредка оглядывался на сеяльщиков: Саш-Миш службу правили истово. Николай сегодня сам ходил несколько раз проверять посеянное, и всякий раз четыре глаза смотрели ему внимательно в спину. До смешного одинаково вытянув шеи, Саш-Миш ждали, что он скажет. Николай махал рукой:

— Нормально!

И их широкие лица становились еще шире от похожих довольных улыбок. Саш-Миш сняли свои одинаковые черные казенные шапки, и белели теперь над красными сеялками две беловолосые головы.

«У Парамыгина глаз наметанный. Сразу хотел их себе забрать. Чем он теперь, интересно, занимается? Да, и не подумал бы, что он выкинет фокус. Тут самые последние алкаши до седьмого пота вкалывают. Надува-

ли, надували, как пузырь, перестали, из него и полезло. Странно как-то у нас получается: чуть кто вперед вырвется, значит, обязательно надо его на особинку взять. А у него кишка тонкая, на эту особинку. А ведь работать любит, трактор, как свою жену, обглаживает, у «Кировца» даже звук какой-то особенный. Вон Гуляев мается теперь, сам себе не рад, норму вытянуть не может, потому что не сеял сроду. А этот, мастер, дома сидит. Черт возьми, чего только в человеке не натолкано».

На парамыгинском «Кировце» работал теперь Гуляев, тихий, безответный парень, который после училища сразу попросился в мастерскую слесарем, потому что, как он сам говорил, руки для руля коротковаты. Но вчера выбора не было и пришлось ему лезть в кабину «Кировца».

Резкий свист прервал мысли Николая. Саш-Миш дружно махали руками, показывая на дорогу, где остановился «Москвич», на котором возили обед в поле. Николай присмотрелся повнимательней и чертыхнулся — из кабины осторожно вылазила его жена Валентина. «Вот дура, живот на лоб лезет, а поехала. Разродится еще по дороге». Валентина была беременна, дохаживала последние сроки, и ее из доярок перевели в бригадную столовую. Работы там было немного, получить продукты да привезти. А сюда, видно, напросилась сама. Николай настроился отчитать ее и, стараясь, чтобы вышло поглубей, пробормотал: «Ходит, земли не видит, а приперлась».

Приставив козырьком ладонь ко лбу, Валентина смотрела на трактор. Но Николай не останавливался и к «Москвичу» со своими сеяльщиками подошел, когда уже все отобедали.

— Коля, ох и обед девчата закатали! Пальцы оближешь.

— Ты чего приехала? Больше некому?

— Да у нас Мария в главную столовую убежала.

Начальство какое-то встречают, помогать вызвали, а я подменила. На тебя хоть глянуть. Садитесь сюда вот, ребята, я газету раскину, я и солонинки из дома прихватила.

Валентина расстелила на земле газеты, вытащила солонину в чашке, из термоса налила в железные глубокие миски наваристого борща, золотисто-масляного цвета. Саш-Миш дружно налегли на суп, даже вспотели. Николай похмыкивал, поглядывая на них, а шофер «Москвича» даже позавидовал:

— О дают, за ушами трещит!

Саш-Миш дружно справились с обедом и отпросились еще сбегать в колок попить березовки.

— Ты ешь, ешь,— угощала Валентина.— На второе плов сегодня, вкусный, я уж наелась, а глаза все завидуют. И так разнесло всю, как на дрожжах, вот хочу, чтоб не есть, а ем.

— Ты мне брось, талию потом будешь наводить.

— Ага, откормлюсь, как корова, а ты потом на сторону.

— Это анекдот такой есть. Француз хвалится: у меня, говорит, жена как соломинка, а наш отвечает: зачем мне такая нужна, чтобы я ее в кровати с граблями искал?

— Ты ешь давай, ешь, анекдотчик.

Она сбоку смотрела на него, и он чувствовал на себе внимательный, добрый взгляд больших серых глаз. Допил компот, подмигнул Валентине:

— Объялся, ей богу. Теперь вот еще покурю и попру. Эх, хорошо как-то, правда, хорошо.

Они покурили с шофером. Валентина уже собрала посуду, засунула ее в кузовок и позвала Николая:

— Слышь, Коль, иди-ка. Да сюда вот, чтоб не видел. Быстрей.

Схватила его руку и прижала ее к своему тугому животу.

— Чуешь? Какой сердитый, вон как топает.

Николай ощутил на своей ладони резкие тупые толчки. Это было необъяснимо. Он даже перестал дышать, слегка дрожала от напряжения рука, под которой стучался зародыш новой, крошечной жизни.

— Такой непоседа, прямо испинал всю.

Толчки прекратились, ладонь лишь ухватила еще какое-то движение, короткое, но тяжелое. Валентина поморщилась и тут же улыбнулась:

— Вот улегся. Мужичок, наверное, беспокойный, да и мама говорит, что по животу парень должен быть. В тебя еще уродится, так узкоглазый. Матушкин. Не Матушкин, а Батюшкин будет. Ладно, иди, а то вон шофер увидит.

— Осторожней там это...

Погладил Валентину по щеке и направился к трактору. А ладонь все еще ощущала тугие толчки, все еще горела от этих толчков.

И снова от одного края до другого. Торчали над красными сеялками беловолосые головы. Небо прояснялось.

После обеда в столовой Воробейчиков захотел на природу, пришлось его везти на озеро, где у Максимова специально была сколочена избушка, и в ней поставлена железная печка. Избушка на отшибе, в сосновом бору, и сюда редко кто заглядывал, так что лишние глаза не видели происходящего здесь. Воробейчикова подразвезло, и он уже приговаривал, что эту избушку хорошо бы украсили женщины. Максимов отнекивался. Уха из отборных карасей давно остыла, подернулась жирной пленкой, коньяк почти весь был выпит, и Воробейчиков рассказал все веселые истории, какие знал. Говорил теперь, что услугу Максимова не забудет и все сделает так, как обещал.

— Знаешь, Иваныч, у меня в руках столько техники — тебе не снилось. Что там твоя заправка — тьфу!

Максимов слушал его вполуха и вспоминал всех, кто перебивал в этой избушке. Они тянулись длинной вереницей, вежливые, нахальные, пьяные, трезвые — всякие. И он не мог без них обойтись.

— Слушай, а насчет женщин...

— В следующий раз. Давай закругляться.

Кое-как загрузил Воробейчикова в машину, но пока ехали до Журавлихи, тот подремал полчаса и протрезвел, непонятно чему усмехался. Шофер остановился возле особнячка Максимова.

— Заберете поросят на ферме, отвезешь товарища в Крутоярово и ко мне сразу, — наказывал Максимов шоферу.

— погоди, Иваныч, — Воробейчиков вылез из машины. — Скажи честно, а почему ты на меня так полупрезрительно смотришь?

— Не понял.

— Да брось. Я же вижу. Улыбаешься, а сам думаешь — ну, что думаешь, а?

Максимов приобнял его за плечи:

— Да с чего ты взял? Ерунда какая. Приезжай, всегда гостем будешь.

— Ну, ну... Я не ангел, но и ты не лучше меня. Мы на равных. Запомни, Иваныч. На меня так смотреть не надо. Бывай. Через месяц мои мужики приедут.

Воробейчиков ловко запрыгнул в кабину, словно и не пил, машина покатила по улице. Максимов проводил ее долгим взглядом и плюнул.

Часа три он спал как убитый. Этого ему вполне хватило. Тщательно умылся, побрызгал в рот эликсира, поднял флакончик на свет, пожалел, что мало осталось. Отличная штука, этот эликсир, купил он его в Прибалтике, где отдыхал, и не раз им выручался — побрызгал, дыши на кого хочешь, как младенец. Эх, если бы еще

какую штуку, чтоб не только перегар отбивала, но и паршивое настроение. Все не шли из ума слова Воробейчикова. «Ишь гусь, на одну доску с собой ставит. Ишь, гусь...» Больше Максимов ничего не мог придумать и только со злостью повторял про себя эти слова.

Время было к обеду, когда по дороге от мастерской, поплеывая кружочками сизого дыма, «Беларусь» потащил разбрасыватель удобрений. Все было сделано: колесо поставлено, транспортеры крутились. «Беларусь» юзил на скользкой дороге, и разбрасыватель, поскрипывая, мотался за ним. В кабине, неловко прижимаясь к трактористу, сидел Семеныч, спокойно смотрел на дорогу. На краю поля, где остановились, он вместе с Василием еще раз все проверил, даже пощупал за чем-то железный кузов, словно пробовал его на прочность.

— Пойдет, как миленький. Командуй, Василий Ильич. Я к тракторам, тут больше делать нечего.

И пошел, как обычно, шаркая ногами и чуть наклонясь вперед. Даже не оглянулся, когда снова заработал мотор трактора, уверенный, что там все будет нормально, так, как положено.

«Беларусь» с пробуксовкой вылез на поле. Тракторист включил гидравлику, по дну разбрасывателя двинулся транспортер, от этого движения слегка задрожал кузов, транспортер подгребал зерно, и вот оно уже на быстро вращающихся дисках, слетает с них и через брезентовую трубу рассыпающейся струей бьет вдаль. Слышно, как шурхают, задевая за брезентину, зерна. На черной земле хорошо были видны чуть коричневые зерна. Струя зерна била и била, рассыпая свой конец веером. Полоса разбросанной пшеницы четко отчеркивалась, и ясно становилось, что здесь не будет ровных рядков, как после сеялки, но хлеб все равно будет, он созреет ко времени и его можно будет убрать.

— Смотри, Базылев. Смотри, расписку не потеряй! — с какой-то внезапно прорвавшейся злостью выговорил Василий. — Поле пустовать не будет. А ты...

Базылев вздохнул и ничего не ответил.

«Беларусь» проходил по полю с большим трудом. Но зерно летело, не останавливаясь. Белый брезент на отводе весь уже был уляпан грязью, которая густо била из-под задних колес «Беларуса».

— А вдруг комиссия какая... Нарушение агротехники. Не думал, Василий Ильич?

— Некогда пока, Базылев. Мне хлеб сеять надо. Некогда.

А в это время Максимов поднял на ноги уже всю нефтебазу, пытаясь узнать, где же бензовозы. В Журавлиху они вышли, но не пришли. Какой-то шофер повернул на газике до конторы, сказал, что бензовозы забуксовали и ждут трактора.

В балке, которая лежала как раз посередине дороги от нефтебазы до Журавлихи, смыло напором внешней воды мост. Бензовозы пошли в обход и застряли.

Назавтра машина посевной грозила остановиться. И тогда часы, такие дорогие сейчас, полетят вхолостую. Полетят над застывшими сеяльными агрегатами, над пустыми полями, над людьми — мимо цели.

Максимов примчался на поле. Им с Василием ничего не оставалось делать, как снимать один «Кировец» и отправлять его на выручку бензовозам. Ехать выпало Николаю, с ним увязались и Саш-Миш.

Кое-как выбрались на трассу. Она уходила грязной широкой лентой в бор, разбитая вдрызг колесами и гусеницами, с покатыми краями, готовая в любую минуту стянуть трактор в кювет. И стянула уже кого-то — лежала перевернутая тележка от «Беларуса», рядом — рассыпанная куча угля. Въезд на трассу был сплошь истерт, видно, не с первого захода удалось выбраться тракторишке.

Задние колеса «Кировца» то и дело опасно потягивало то вправо, то влево. Николай подавался всем туловищем вперед, напрягался вместе с мотором и потом облегченно откидывался, когда трактор вырывался и снова шел по прямой. В бору было еще хуже. В выбоинах разлились желтоватые от глины лужи, канавы по бокам тоже заполнены водой.

Саш-Миш помалкивали, видя, что Николаю не до разговоров, на такой дороге только зевни. И не замечая того, смотрели на него с восхищением, любовались. А Николаю было легче, что он не один, что в кабине есть еще люди. Трасса казалась уже не такой страшной.

За поворотом показалась балка. Выше был мост, который смыло, а здесь в свое время дорожники сделали объезд. Но пороху не хватило засыпать низинку полностью, только сгладили спуски. Низина была залита грязью, словно жидким тестом. В этой грязи и стояли бензовозы, передний плотно застрял, остальные не рисковали ехать. Возле переднего, у колес, набросаны кучи желтой липкой глины, хотя дело это было бесполезное — копай не копай, все одно.

— Вот так! — вслух ругался Николай. — Кто-то ведь должен был тут сделать по-человечески, где он, паразит, сюда бы его! Эх!

«Кировец» осторожно сползал вниз. Шоферы бензовозов, молодые парни, в одинаковых спецовках, перекуривали возле одной из машин. Николай остановился.

— Ну, мужики, чего приуныли? Трос есть?

— Есть. Из Журавлихи, что ли?

— Специально за вами. Спец буксир.

— Разворачивайся. Поживей, парень, нам до ночи вернуться надо.

Шоферы быстро и сноровисто размотали трос, прицепили к первой машине. Не суетясь, дельно помогали им Саш-Миш.

— Пошел!

Враз, натужно взревели два мотора. Медленно-медленно, струей выбрасывая жидкую глину из-под бешено вертящихся колес, от которых шел уже легонький дымок, бензовоз стал выползать, крупная дрожь потряхивала его. Подъем одолел сам. Со вторым было хуже, трос оказался коротким, и пришлось Николаю спускаться свой «Кировец» вниз, а уже только потом идти на подъем. В какую-то минуту, вначале даже не глазами, а телом, почувствовал он, что трактор повело вбок, как будто легонькую детскую игрушку, тянул его кто-то. И вдруг резкий, короткий звук, похожий на щелчок, метнулся и пропал. «Кировец» легко подался вперед, выкатился наверх, Николай оглянулся и вначале даже не понял — что произошло? Бензовоз стоял на месте, все столпились в кучу. И только тут заметил, что трос лежит далеко в стороне. «Соскочил с бампера», — обожгла догадка. Когда он подбежал, одного из шоферов поднимали с земли. Фуфайка у него на боку и на спине была разорвана до серой ваты. Он приподнимал голову и спокойно, только чуть морщась, говорил:

— Ребята, да вы не пугайтесь. Страшного нет. Зашибло, пройдет.

Лицо его быстро бледнело.

Парня усадили в кабину первого бензовоза, Саш-Миш, едва втиснувшись, поддерживали его голову.

— Покажете, где больница. Давай, трогай.

Бензовоз скоро скрылся за поворотом. Шоферы хмуро смотрели и молчали. Еще несколько машин сидели в вязкой, желтой глине. Вытащили их в потемках, в Журавлиху приехали ночью.

Когда буксовали машины в балке, когда везли в кабине бензовоза стонущего шофера, в райисполкоме шло заседание, на котором ругали начальника дорожного

участка Арефьева. Потный, виноватый, он стоял и слушал, соглашался:

— Да, виноват. Виноват, конечно. Надо было капитальный мост строить, да и спуски тоже. Завтра сам поеду на место и разберусь. Все будет сделано.

Ему дали сроку два дня.

Вечером, за ужином, Арефьев подробно рассказал жене о полученной накачке, велел, чтобы она нашла сапоги и теплые носки. Потом посмотрел по телевизору пятую серию длинного детектива и лег спать пораньше.

Шел к закату еще один день посевной. На буграх, тронутых солнцем, подсыхала земля. Низины еще мокли. На западном склоне неба густел и наливался ярче алый свет — верный признак доброй погоды на следующий день. Окна в кабинете Максимова розовели и поигрывали, и на лице у Василия, который стоял у окна, тоже лежали красноватые отблески. Он подробно докладывал Максиму, что сделано за день, а сам смотрел вдаль и видел там невидные отсюда поля, тракторы, ползущие по ним, видел одно и то же, думал об одном и том же.

Только что они вернулись из больницы, куда привезли ушибленного шофера. И теперь, разговаривая о делах, оба думали об этом случае, потому что не могли не думать. Врачиха сообщила, что удар был сильный и может еще открыться кровотечение.

Оба они вспоминали лицо шофера, молоденького парнишки, раздетый, в одной простенькой рубаше, он казался совсем ребенком.

— Надо же было! Вот черт! — сокрушался Максимов. — С какого бока не ждешь, с того и прикатит. Поди, выживет, как думаешь? Хирург скоро подъедет.

— Надо, чтобы выжил. Знаешь, Алексей Иванович, я вот все эти дни думаю. И думаю о том, что случайно у нас ничего не бывает. Все накладки, какие вылазят, они раньше начались, только мы этого не замечаем. Парамыгин трактор бросил — случайно? Нет, конечно. Мы ему помогли к этому добраться, мы его перехвалили, мы ему внушили, что он пуп земли. Сегодня ты договорился о заправке — хорошо. А колхозники уже знают, что председатель поил какого-то начальника. Надо это, скажешь. Надо. Оправдание есть. Завтра кто-нибудь из колхозников загуляет и тоже оправдание найдет. За все платить приходится. Выбить, выколотить любой ценой — все для колхоза, мяса сунуть, ягод, напоить — все для колхоза. А заправка этого, поверь, не стоит. Потому что людям какие уроки даем? Ведь если разобраться, кто сейчас виноват, что шофер лежит? Арефьев. Когда еще про этот мост говорили. Шум поднять? Снять его не снимут, а он потом наши дороги будет в последнюю очередь в порядок приводить. Боязно. Спишем на несчастный случай. Парамыгина выгнать с трактора? А кто рекорд осенью поставит, кто колхоз славить будет? Поругаем и оставим. А за все, в конце концов, Алексей Иванович, спросится, ох, как спросится. Если не с вас (вы на пенсию уйдете), то с нас, кто останется. Спросится.

— Ты что, хочешь сказать, что я во всем виноват? Там где-то двадцать с хвостом контор надо мной, если я через все через них пойду, чтобы как положено взять, год пройдет, а за дела с меня сегодня спрашивают. Ты это не хуже меня понимаешь. Зачем тогда морали читать?

— Надо все-таки добиваться законным путем. А иначе нам это черт знает куда вылезет.

— Василий Ильич, плохо я или хорошо работал, а свое дело сделал. Вот она, Журавлиха, вот он, колхоз, — все через мою седину. И на пенсию со спокойной

совестью. А вот когда ты на мое место сядешь — тогда и посмотрим, как ты будешь делать.

— Неважно, кто сядет.

— Ты сядешь. В райкоме о твоей кандидатуре уже решили. Не хотел раньше времени говорить, да уж теперь... Поэтому тебе втолковываю, специально. Сгоришь быстро, понимаешь. Все прямые бревна в первую очередь на доски пилят.

— Доски тоже нужны, Алексей Иванович. А теперь вот что — Парамыгина с трактора снять надо. Для пользы других.

— Ну, хватил!

— Я буду настаивать. Снять и все.

Максимов тяжело вздохнул, вылез из-за стола, и только тут Василий заметил, что лицо у него очень усталое, под глазами набрякли мешки и глаза были полуприкрыты, словно он засыпал. Максимов долго ходил по кабинету и молчал.

— Я бы мог и запретить. Да теперь уж все равно тебе командовать. Завтра-послезавтра из райкома брякнут, и на покой я. Только запомни: все здесь останется. И Базылев, и Парамыгин, и Воробейчиков еще придет. Все на своих местах останется, не забывай. Ладно. Иди спать, завтра утром опять спозаранку.

— Алексей Иванович, а ты ведь знаешь, что я прав. Только самому себе не хочешь признаться.

Максимов вздрогнул и обернулся. Василий ударил его по больному месту: думал — и не раз думал об этом. Если бы эти слова сказал кто-нибудь со стороны, не обратил бы внимания, но их говорил Василий, главный агроном, который знал, хорошо знал всю скрытую механику. Значит, допекло его.

Когда Василий ушел, Максимов сел за стол, положил голову на руки и долго так сидел, не поднимаясь, не шевелясь.

Парамыгин не дождался. За ним не пришли. И не придут, понял он. И когда понял, с утра отправился в поле. Собирался недолго, как и всегда на работу. Впервые за эти дни он чувствовал себя уверенным. А уверенность была в том, что ему обрадуются, слышал, что Гуляев вчера напортачил, заставили пересеевать. «Ну и черт с ним, что сам приду. Все равно будут знать. Я им сейчас покажу, как работать надо, я им отмочу цифирку. Не мытьем, так катаньем своего достукаюсь. А погодка, елки-палки, так и тянет в кабину!»

Погода и впрямь налаживалась. Яркое вставало солнце, розовели колки, и в них слышалось птичье пенье. Потеплело заметно, и вдали чуть подрагивал над увалами сизый туманчик, похожий на исчезающие дымки. Горизонт посветлел и отодвинулся далеко-далеко.

Парамыгин почти бежал, как обычно, расстегнув на все пуговицы фуфайку. И еще издали, на подходе к полемому стану, увидел свой трактор, стоящий чуть на отшибе. Грязь на высоких колесах обсохла, они теперь казались замазанными серой краской. Железо с ночи нахолодало и отпотело, Парамыгин стер рукой влагу с ветрового стекла и мокрой ладонью провел по лицу. Отсюда, с высоты почти двух метров, хорошо было видно все вокруг. Первым из домика вышел Семеныч, и он первым увидел Парамыгина. Шаркая по земле ногами, он добрался до «Кировца», приподнял вверх голову:

— Навоевался?

Парамыгин не ответил.

— Да, значит, печенка не выдержала, прибежал. Эх, Парамыгин, на таких, как ты, ранешние порядки надо. В МТС, например, тебе за такое дело сразу бы годика два вкатили. И не охнули.

— Слушай, Семеныч, не ковыряй. Я, может, из принципа.

— Да каки таки принципы? Я ж тебя, Парамыгин, насквозь вижу, как стеклышко. Пока подкармливали

да подхваливали — работал, а чуть осечка — выпрягся. Легонькая у тебя голова, кружится, вот в чем вся загвоздка.

— А что я, не работал, что, не вкалывал?

— А, — махнул рукой Семеныч. — Не словами тебя надо в другую сторону поворачивать. Нет, не словами...

— Хватит, Семеныч.

— Хватит, хватит. Эх, бодливой корове бог рога не дал. Моя бы воля...

И он побрел, чуть наклонившись вперед, к летучке, что-то еще бормотал сердитое, но Парамыгин не расслышал. Да и не хотел он сейчас никого слушать. Он быстро осмотрел трактор: зерно уже было засыпано. И «Кировец» только ждал своего хозяина, чтобы взречь мотором и потащить за собой сеялки. Гуляев, увидев его, облегченно вздохнул и мигом поднял сеяльщики. Парамыгин сидел в кабине и ждал, сейчас ему никого не хотелось видеть. Как только сеяльщики заняли свои места, он тронулся. Подальше от стана, от людей, в поле. Только бы ни на кого не смотреть и ни с кем не разговаривать.

Оставшись в кабине один, Парамыгин забыл обо всем, что случилось за эти дни, не думал сейчас ни о чем, кроме своей работы. Ровно гудел мотор, тянулось под колеса поле, и свежий, широкий след оставался за сеялками.

В это самое время Василий приехал на стан и наткнулся на Гуляева, который собирался домой.

— А кто на тракторе?

— Хозяин, кто. Пришел Парамыгин, еще с раннего утра, сеет вон.

— Пойдем.

— Куда? Я в мастерскую собрался. На место.

— Кто разрешил оставить трактор? Где Базылев?

Базылев оказался неподалеку, вступился за Гуляева:

— Хватит мужику маяться, раз не получается.

— Почему у тебя Парамыгин на тракторе? Кто ему разрешил?

Не дожидаясь ответа, Василий сел в машину, обогнул колок и по пахоте пешком двинулся наперерез парамыгинскому «Кировцу». Парамыгину пришлось остановиться.

— Ну, чего еще?

— Слазь. С трактора тебя сняли. Приказ сегодня напишут. Иди в контору, прочитаешь.

Чего угодно, но только не этого ждал ошетинившийся Парамыгин. Его выгоняли с трактора.

— Давай быстрее. Я тебя стаскивать оттуда не буду.

Василий стоял и ждал, пока Парамыгин неуверенно спускался на землю.

— Да это, Василий Ильич...

— Все, Парамыгин, все, хватит. Иди в контору и думай.

Парамыгин на пашне оглядывался и спотыкался. За спиной снова работал его «Кировец», и звук мотора хорошо слышался даже здесь, у кромки колка, где сел Парамыгин под березу. Толстая, с черным налетом кора была мокрой от сока, и он обтер ее ладонью, как недавно обтирал стекло кабины.

— Жалко мужика,— вздыхал Базылев и подпрыгивал на сиденье, придерживая рукой очки.— Жалко.

Василий молчал.

— Оно, конечно, правильно. А все равно жалко. Работник какой. Не по-людски все получается.

— А как по-людски? Трактор дать, зарплату выплатить? Пожалеть. Ты себя тоже жалеешь — расписки просишь. Пусть кто-то отдувается. Тоже себе оправдание, наверное, нашел. А у нас одно оправдание — хлеб. Он и скажет, хорошие мы или плохие. Парамыгин приложил руку, чтобы его меньше выросло.

Базылев вздохнул и прикрыл очки ладонью от солнца. Спорить с напористым Матушкиным не мог. Сразу замолчал. Газик выскочил на увал, и солнце било теперь прямо в глаза. Любил Базылев постоять на этом увале и посмотреть вниз. Почему-то всякий раз, когда в Доме культуры показывали цветные фильмы, он вспоминал этот увал и думал: «Вот где кино снимать. Вот красотища». Внизу, по левую руку, лежала Журавлиха, видная отсюда только по крышам, черным и белым, змеилась речка, охватывая ее полукругом. Дальше, за лугом, сильнее густились колки и над ними выдавалась ровная, как обрезанная, полоса соснового бора. А вправо, прямо от дороги, незаметно поднимаясь вверх, шли сплошные поля, единственные в округе, которые радовали глаз густой зеленью — здесь была посеяна рожь. Под солнцем она блестела и переливалась, набирала силу и шла в рост.

Пройдет немного времени, рожь вымахнет, перекрасится в желтый цвет, раскудлатит колос и загуляет под тугим ветром длинными волнами, покатит их из одного невидного конца края в другой.

«Вот, Василий Ильич,— думал Базылев.— Смотрю и люблюсь. Время идет, а земля не меняется. Двадцать лет назад такой же была. А я другим. Базылев боится. А тебе, Василий Ильич, тюрьма по ночам не снилась? Мне снилась. С Максимовым и сейчас не соскучишься, а тогда... то хлеб припрячет, то вместо кукурузы рожь посеет, а за все разговор короткий. Правильно делал, а только страху сколько перетерпели. Ему ничего, обломался, а я нет. Потом всю практику осудили, в газетах про это напечатали, повернули по-новому, а я вот повернуться не мог, так и живу по-старому. То одного боюсь, то другого. Рад бы иначе, а не могу. Человек не машина, зараз не повернешь. Эх, поварился бы ты в той каше, посмотрел бы на тебя. Тоже, может, до сих пор бы оглядывался».

Возле ржаного поля Василий остановил машину, долго ходил по нему, стараясь ставить ноги между рядками, чтобы не помять зеленые ростки. Всходы были хорошие, даже холодная, дурная весна не задавила их. Крепенькие, они упрямо тянулись вверх. Василий обернулся к Базылеву, крикнул:

— Как думаешь, центнеров по двадцать пять возьмем?

— А вот когда возьмем, тогда и посчитаем.

Базылев подержал в руках зеленый росток, и тот качнулся верхушкой в сторону. Сколько ему еще надо пережить дней, солнечных и пасмурных, сухих и дождливых, чтобы вымахнуть в полный рост, поднять на себе тяжелый, тугой колос. Много виделось впереди таких дней, огромным было над полем небо, которое может стать и белесым от зноя и может кинуть на землю град, который в считанные минуты изуродует, обезобразит поле сплошными проплешинами.

«Зона рискованного земледелия,— вспомнил Базылев слова из доклада заезжего лектора.— Зона... ишь ты как. Земля это, братец, а на ней все случается. Только и разницы, что один росток перетерпит, а другой хрустнет».

— Ты что, уснул там? Поехали.

Вздвогнув от громкого голоса, Базылев оглянулся. Василий уже сидел в машине.

К вечеру следующего дня на пригорках за клубилась под колесами машин пыль. Нагревался воздух, парила земля, а колки за эти дни разом ослепительно позеленели. И закат был ядреный, густой, снова обещал хорошую погоду. А по полям все ползли и ползли тракторы с сеялками, неслись к ним погрузчики, и если бы посмотреть сверху, то все представилось бы, наверное, огромным вращающимся колесом, которое не затихало

ни на минуту, крутилось и крутилось. Не могло оно нарушиться, как не мог нарушиться раз и навсегда заведенный порядок: зиму сменяла весна, весну сменяло лето, а за посевной уже маячила невдалеке уборка.

И все вдруг разом почувствовали страшную усталость. На последнем поле в один час сломалось два трактора, у погрузчика полетела коробка скоростей, и шофер, убедившись, что оставшегося в сеялках зерна на последний кусочек земли хватит, бросил на сиденье в кабину фуфайку и уснул, свесив ноги в стоптанных кирзовых сапогах.

Оставалось сделать еще несколько гонов. Николай остановил трактор и подозвал Саш-Миш. Они, догадавшись, побежали к кабине.

— Э, мужики, не все сразу. Давай по одному. Кто первый? Спички тянуть будете?

— Да нет, давай ты.

Один полез в кабину.

— Тебя как зовут-то?

— Саня я.

— Ну, давай, Санек, осваивай на деле технику.

Николай уступил ему место за рулем. Санька закусил губу, лицо сразу напряглось и уши зарозовели.

— Давай, давай, не бойся.

— Да я не боюсь,дохну только вот.

Трактор плавно тронулся с места. Он шел, подминая колесами уже подсохшую землю, тащил за собой сеялки, за сеялками широкий след, в котором уже лежали семена. Трактор еще подрагивал, еще немного сбивался, но шел прямо к далекому горизонту, который отодвигался от него, отделялся от дальних колков и серых увалов.

— Ты спокойней, не напрягайся, а то надолго не хватит, спину сведет.

— Да как спокойно-то, в первый раз хлеб сею, как спокойно?

Кончился гон, «Кировец» развернулся, двинулся назад. На середине Санька остановил трактор, радостно охнул и хлопнул в ладоши.

— Ты что?

— Мишке надо оставить, а то не хватит.

Они поменялись местами. И снова «Кировец» продолжал свой путь по пустой пока еще земле, оставляя ее за собой уже засеянной. И Мишка, так же, как брат, напрягался, дрожащими от волнения руками держал руль, и ему Николай говорил, чтобы он расслабился, иначе быстро устанет.

Потом они втроем ходили по этой полоске, которую засеяли, и радовались втроем. Необычно тихо было над полем. Тихо-тихо. И поэтому особенно громко полетел в вышину радостный мальчишеский крик,

— А-а-а! Ура-а-а-а!

Когда все срочные дела были сделаны, когда самые неотложные вопросы были решены и когда длинный суматошный день, последний день посевной, сменился вечером, когда все закончилось — они остались вдвоем. Максимов и Василий. В тишине просторного кабинета раздавалось только неясное гуденье мошкары, налетевшей на свет в открытую форточку, да чуть поскрипывал под Максимовым стул. Оба они сидели усталые до крайности.

— Ну, что, Василий Ильич, хлебушко мы с тобой вместе посеяли, а убирать, видно, тебе придется одному. Разговаривал сегодня с райкомом, вопрос о моей пенсии решен, ну и о тебе тоже. Будешь председателем. Потом мы с тобой обо всех делах поговорим, разберемся. Одно скажу, то, что ты тут говорил, может, и правильно, да не совсем. Все вбито в колхоз. В колхоз, понимаешь?

— Я не сомневаюсь в этом.

— Так чего ты мне в вину хочешь поставить?

— Себе тоже. За каждый свой шаг в конце концов человек отвечает. Не обязательно на ковре у начальства. Перед самим собой еще отвечает.

— Сломаешься быстро, если щепетильным будешь, или тебя сломают.

— Не верю.

— Значит, больше и говорить нечего.

Василий уходил по спокойной сонной улице, а за его спиной все еще горели окна председательского кабинета.

Лежали в темноте поля, засеянные пшеницей, лежали в земле зерна, набухали, набираясь тепла и влаги, могучая сила бродила в них, крохотных, быстрее и мощнее с каждым часом, совсем немного оставалось времени — лопнет зерно, и первый зеленый росток сначала растолкнет его нутро, потом землю, пустит корни и высунется наружу, под открытое небо.

* * *

Накатил июнь. Жаркий, солнечный, зеленый и сочный. И все случившееся за время необычной посевной уже забывалось, уходило в прошлое, потому что наступал черед новым делам и новым заботам.

Василия Матушкина провели по кабинетам высокого начальства, покрутили так и эдак, поразглядывали, по-расспрашивали и вынесли решение — быть ему председателем колхоза в Журавлихе. Илья Петрович, услышав об этой новости, почесал затылок, хмыкнул и не нашелся что сказать, только растерянно протянул: «От, едришкина хать...». А Марья Степановна, неизвестно почему, всплакнула.

Василий возвращался из района на своем газике и вспоминал рассказ Максимова о том, как тот ехал новым председателем в Журавлиху на грузовой машине, о том, как сгорело сено и что после этого было. Теперь

все по-другому. По-другому, но легче ли? Пожалуй, нет. Новые заботы сразу обступали его, приносили тревожные чувства, и от них уже никак нельзя было избавиться, они обосновывались прочно, надолго.

У развилки дорог — сюда обычно выходили те, кто опоздал на автобус, — стоял какой-то мужик с чемоданом и, заметив машину, еще издали стал голосовать. Василий подъехал ближе, притормозил и удивленно свистнул: на бровке колеи, подминая толстыми подошвами туфель редкую траву, стоял Парамыгин. На нем была легкая светлая шляпа, хороший костюм, а в руке, кроме чемодана, он еще держал большую сетку с крупными ярко-желтыми апельсинами. Привыкший видеть его в спецовке, в сапогах, Василий пораился перемене. Казался Парамыгин непохожим на самого себя. А тот, увидев, кто за рулем, тоже сильно удивился и шагнул с бровки назад, поставил чемодан на землю.

— Здорово, Парамыгин! — Василий остановил машину и открыл дверцу. — Чего стоишь? Садись. А то ноги на голову обижаются будут. Садись, садись.

Парамыгин подумал и, ничего не ответив, с сердитым лицом полез в машину.

Ехали молча. Никто первым не заводил разговора. Василий гнал газик прилично, даже на ухабах не сбрасывал скорость, но Парамыгин на сиденье не подпрыгивал, сидел как влитой. Чуть повернув голову вбок, внимательно смотрел сквозь стекло на плывущие мимо зеленые колки.

После того как его сняли с трактора, он сразу подал заявление об уходе. Максимов пытался уговорить, но он упрямо стоял на своем. По слухам, поехал куда-то на север, искать работу и вот вернулся. С чем, интересно? Василий искоса, с любопытством поглядывал на него.

— Чего зыркаешь, Василий Ильич? — грубо спросил Парамыгин, отрываясь взглядом от дороги. — Давай, интересуйся — на каком я белом коне вернулся.

— Сам, наверное, скажешь.

— Скажу. Приехал, пошел в одну строительную контору. Как только в трудовую глянули, сразу за руки и за ноги схватили. Квартиру через полгода и четыре сотни в месяц — отдай, не грехи. Ну, чем не малина? И еще добавь — всяческие поощрения.

— Значит, за семьей едешь?

— Не угадал, Василий Ильич. Мелко меня меряешь. Назад еду, в Журавлиху, будь она трижды проклята, присосала намертво. Везде хорошо, где нас нет. Так-то!

Дорога, повиляв между колками, выскочила на журавлихинские поля, и вдали уже завиднелась своими крышами деревня. Тополя густо раскинули кроны, и крыши казались островками среди яркой зелени.

— Слышь, тормозни-ка здесь, я пешочком пройдуся.

Парамыгин вылез из машины, снял шляпу, сунул ее в сетку с апельсинами, разулся, башмаки тоже привязал к сетке, перекинул все это через плечо, подхватил чемодан и оглянулся назад:

— Так-то, Василий Ильич!

Неторопливо пошагал по узкой, нагретой жарким солнцем тропинке и, потряхивая головой, разудало запел:

Арлекино, арлекино...

Это было уже совсем непохоже на Парамыгина. Но Василий его хорошо понимал. Трогая машину и еще раз оглядываясь на уходящего по тропинке Парамыгина, он думал о том, что ему еще многих придется понимать и ему нужно научиться понимать их всех, как самого себя.

А Парамыгин, после того как газик Василия скрылся из глаз, остановился, положил на мягкую траву пиджак и лег головой на чемодан. Где-то в немыслимой высоте, в бездонной голубизне неба, не закрытой ни единым облачком, плел свою радостную, светлую песню жаворонок, и Парамыгин слушал ее, лежа на теплой зем-

ле, под теплым солнцем. Он сейчас ни о чем не думал, только лежал и слушал, завидуя жаворонку, который умел петь так светло и радостно.

...В одну из самых коротких ночей июня, когда прохлада не успевает прикоснуться к земле, умерла Серафима Петровна. Тихо, спокойно и незаметно.

С вечера она долго не могла уснуть. Отправила домой Марью Степановну, которая присматривала теперь за ней, сказала, что стало легче, и лежала, вытянув руки вдоль тела, прислушиваясь к самой себе, удивляясь, куда делась ее сила, какая всегда была при ней, куда она разом исчезла? Нет, Серафима Петровна не болела, ничего не тревожило ее, не давило нигде, не ныло, даже наоборот, испытывала она приятную успокоенность, но только одного не было — силы. Даже для того, чтобы встать с кровати.

Она уперлась локтем, передохнула и отняла от подушки легкую, чуть кружившуюся голову, локоть задрожал, но она успела увидеть свой двор, плохо упрятанный в редких потемках, закрытую калитку, наполовину разобранную по зиме поленницу, густые, высокие, темные шапки тополей на улице, еще она успела увидеть, когда дунул ветер и завернул листья, их белесыми, словно враз поседевшими. Небо над ними уже яснило.

Локоть задрожал, задрожал и подломился. Она снова легла на подушку, в старую, продавленную головой ямку и почувствовала, что наволочка прохладна, не отдает тем теплом, какое обычно забирает у тела.

«Сносились я. Вот и кровь уж совсем не греет, — думала Серафима Петровна, отдыхаясь, как после тяжелой работы. — Надо было не отсылать Марью, посидела бы, слово сказала. А так тяжело, одной-то. Ночь шибко светлая. Ой, какая светлая, будто утро уже. И люди все спят, самый сон теперь. Одна я маюсь. Ну, да и лучше, нечего зря их тревожить. Одни дальше идут, кому-то отставать надо. Только пусть бы

оглянулись, хоть ненадолго, пусть бы на меня оглянулись, я ведь на них ни зла, ни камня не держала, про них думала».

Она уложила поудобней голову в выдавленной ямке подушки, прикрыла глаза и перестала думать. Она сейчас твердо поверила, что люди на нее оглянутся, не вспомнят худым словом, потому что не заслужила она его.

Серафима Петровна никогда так не думала про себя — хорошо она живет или плохо? — чаще всего думали за нее другие, которые командовали, когда она работала, сама же только догадывалась, как догадывается слепой, безошибочно определяя в своем доме правильные шаги. И только сегодня поняла, ясно и четко, что ни один из этих шагов не сделан в сторону. И поэтому ей легко было засыпать. Серафима Петровна хотела верить, что засыпает только до утра, убеждала саму себя, что только до утра, и все равно не верила.

В глазах у нее еще стоял мягкий свет июньской ночи, поблескивала поседевшая от ветра тополиная листва, еще верхушки тополей рисовались на светлеющем небе, но все это уже начинало зыбко покачиваться и уплывать. И сама она, следом за этим серебристым блеском, поплыла, тоже зыбко покачиваясь, вверх, все дальше и дальше, будто над высокой пологой горой поднимало ее. И где вершина этой горы, где конец этому подъему?

Когда начали выгонять коров, в узком переулке плеснулся горький плач Марьи Степановны.

Максимов сдавал последние дела. Тяжело пыхтя, сам очистил стол от ненужных бумаг, натрамбовал ими полную урну. Потом отошел к порогу, сел на один из стульев для посетителей и стал смотреть на свое место. Сгорбившись, поставил локти на колени, пригладил ладо-

нями волосы и исподлобья, словно приценивался к незнакомому человеку, все смотрел вперед. Смотрел пристально и въедливо, словно пытаюсь разгадать самого себя, который несколько минут назад сидел на широком кресле, за большим столом.

И вроде уже не о чем волноваться ему, бывшему председателю журавлихинского колхоза, он все сделал, но почему же сегодня, особенно сегодня, когда навсегда уходит из этого кабинета, когда уже все готово к торжественному банкету, на котором ему будут говорить только хорошие, приятные слова, почему же на душе у него беспокойно, словно провинился и скрыл вину? Непонятное чувство давило его, не давалодохнуть полной грудью. Так занятый человек ходит, бегаёт целый день и никак не может понять — почему такая слабость у него и почему так кружится голова, а потом, вечером, вспомнит вдруг, что он ничего не ел.

И у Максимова было такое предчувствие, что он тоже скоро вспомнит и поймет причину своего беспокойства. Он вздохнул, опустил тяжелые толстые руки и поднялся. Вышел из кабинета, даже не оглянувшись.

В приемной, носом к носу, столкнулся с Василием Матушкиным, они даже растерялись от этой неожиданности, откачнулись друг от друга. Максимов шагнул в сторону, давая дорогу Василию, но тот не торопился проходить. Оба забыли поздороваться.

— Алексей Иванович, ты извини, я завтра на твое торжество запоздаю.

— А что случилось?

— Тетка, Серафима Петровна, померла сегодня. Похороны.

— Померла?. Да-а-а... Померла... Все равно приходи. Я там все освободил, можешь располагаться. Как говорится, попутного ветра, Василий Ильич.

Максимов шлепнул его по плечу и, не оглянувшись,

вышел из конторы. Знакомое, родное крыльцо с высокими каменными ступеньками, длинная решетка перед ним, о которую вытирают ноги, широкие цветастые щиты с плакатами вдоль забора, и так получилось, что ни одного человека поблизости. И Максимов, торопясь, не задерживаясь, быстро сел в свои «Жигули», подолгу плутая на узких дорогах среди колков, ездил по полям, нигде не останавливаясь.

Поля цвели. Накатывал в жарком воздухе тяжелый дурманный запах разнотравья, его не забивала даже густая пыль. Над черными парами, они свежей заплатой лежали среди зелени, поигрывала, поблескивала едва уловимая для глаза сизая дымка испарений. Исчезала, терялась, возникала снова, словно неверный отсвет пламени. Крепко густилась пшеница, вымахивала вверх рожь, и на ее острых верхушках уже начинал твердеть колос. Цвели поля в срединной, благодатной порелета.

Максимов, сам не замечая, по привычке, по инерции долгих лет думал: на пары надо успеть побольше навозу вывезти... спохватывался, обрывал самого себя и потом все начинал сначала.

Поездка по окрестным полям успокоила его, даже дышать стало легче. Максимов поудобнее откинулся на спинку сиденья и тихонько запел себе под нос. Он въехал в Журавлиху не по трассе, а сбоку, по проселочной дороге, прямо в узенький переулок, обросший по краям густой молодой крапивой. Въехал и увидел возле дома черную низкую кучку старух. Они стояли в ограде, как-то тесно друг к другу, и разом повернулись на звук машины своими бесцветными, сморщенными лицами. Максимов сразу вспомнил, что сегодня умерла Серафима Петровна. Ему было жаль своего хорошего, радужного настроения, и идти в этот печальный дом совсем не хотелось. Но и проехать мимо маленькой кучки черных старух на своих сверкающих, вызывающе новых

«Жигулях» тоже было неудобно. И он, ткнув машину носом в крапиву на другой стороне переулка, вышел, стараясь не хлопнуть, тихо прикрыл дверцу.

Старухи, когда он появился в ограде, пошептались и смолкли. К дощатым сенкам был прислонен только что выструганный из соснового бруса простой крест. Смоляные прожилки поплавились под солнцем и пузырились янтарными каплями. Пахло смолой, свежими стружками.

— Здравствуйте,— негромко произнес Максимов, проходя мимо старух, и они вразброд тоже поздоровались с ним. Он взглядом скользнул по лицам и вдруг поразился, что всех их давно знает и страшно давно не видел. Даже задержался, сразу вспоминая, кто из них работал на ферме, кто трактористками, а кто и вообще, год за годом, куда бригадир пошлет. Стояли те, с кем Максимов начинал лепить славу колхоза. Он их всех знал по имени и по отчеству, о каждой мог бы рассказать очень много, но опять же — страшно давно всех их не видел, живя в одной деревне. Шагнул в нагретые, полутемные сенки.

Серафима Петровна лежала в переднем углу на широкой лавке, в новой кофте и в новой юбке, в белом, аккуратно подвязанном платочке, сложенные на груди ладони были широки и костисты, на них еще бугрились крупные вены. Максиму показалось, что одна из этих вен вздрагивает, словно по ней еще проходила толчками кровь. Он вытер ладонью лицо и сел на стул, который ему заботливо подставила Марья Степановна. Теперь сидел сбоку покойницы, смотрел на ее белый профиль и, пугаясь, удивлялся тому, что Серафима Петровна умерла с чуть виноватой улыбкой. Улыбка тоже словно еще жила в синих бескровных губах. У Максимова закружилась голова, он изменился в лице, Марья Степановна тронула его за рукав и шепотом спросила:

— Плохо вам, Алексей Иванович?

Он кивнул и вышел. По-прежнему парил на улице жаркий июньский полдень, на прежнем месте стояли старухи, смотрели на него. Как раз в это время подъехал на лошади Илья Петрович. В телеге, на свежей зеленой траве, лежал гроб и рядом, отдельно, крышка. Илья Петрович привязал к изгороди вожжи и, ни к кому не обращаясь, глухо сказал:

— Дожились, красного матерьялу на гроб найти не могут. Всю жизнь отмантулила, а тут три метра...

Он говорил, ни к кому не обращаясь, но Максимов принимал эти слова на свой счет. Илью Петровича, с тех пор как он ушел с комбайна, Максимов тоже давно не видел — тот месяцами лежал в больнице.

«А ведь я-то с ними, я ведь тоже ушел, — подумал он. — Но меня будут провожать с помпой, а чем я их лучше? Чем лучше этой Серафимы, которой три метра красной материи не нашли?» И снова он смотрел на лица старух и видел их здоровыми бабами, для которых, казалось, не было такой работы, какую они не смогли бы сломать. Тогда, раньше. Тогда он каждый день и каждый час помнил о них, потому что без них все бы рухнуло. А сейчас, год, два назад, он думал про них? Он забыл. Даже сегодня, с утра, когда умерла Серафима, когда ей три метра красного материала на гроб не нашлось, он звонил в район, беспокоился о зеленых огурцах и помидорах для своего банкета. Ну а чем он лучше? Неужели он сделал больше? Давно не испытывал Максимов такого прилива жгучего стыда, когда хочется провалиться сквозь землю.

Илья Петрович о чем-то спросил его, Максимов не расслышал и не ответил. Он долго потом сидел в машине, закрыв глаза, навалившись на руль, и не торопился ехать.

Уже из дому позвонил Василию в контору, но того на месте не оказалось — вызвали в район. Максимов походил по пустой комнате и снова сел за телефон. Ре-

шение пришло ему внезапно, он ухватился за него. Заведующую универмагом заставил срочно найти красный материал:

— Где хочешь! Что парторг сказал? На плакаты, никому не давать? А я говорю отдай. Прямо сейчас возьми и отнеси.

Потом он договорился, чтобы из Крутоярова приехал духовой оркестр на похороны, а потом обзвонил всех приглашенных и, ссылаясь на болезнь, всем говорил, что торжественных проводов на пенсию не будет. Но легче от этого не стало нисколько. А через час уже все сделанное казалось мелким, ненужным.

Максимов возвращался с кладбища после похорон Серафимы Петровны одним из последних, совершенно убитый. Еще там, когда стоял у могилы, понял, что все это: и обитый материалом гроб, и духовой оркестр, и поминки в столовой, на которые он отдал все, что запасал для банкета, все это фальшивое, не настоящее. А где настоящее и правдивое?

Казнился Максимов и не мог остановить своих мыслей. Иногда он спохватывался и спрашивал: «Да с чего ты жрешь самого себя? Нисколько ты других не хуже, даже лучше». Но этот вопрос тут же забывался.

Еще с утра по небу пополз морок, к обеду на горизонте густо сбились тучи, и сейчас пошел мягкий, неторопливый обложной дождь. Последние люди, что возвращались с похорон, быстро рассеялись, улица опустела, и теперь только один Максимов, не обращая внимания на дождь, шел посередке, тяжело, по-утиному переваливаясь. Шляпа у него намокла и поля обвисли, капли скатывались и густо падали на пиджак. Дождь не утихал, не усиливался, а шел по-прежнему, как начался, размеренно и мягко — самый благодатный дождь в такую пору, нужный хлебам, и деревьям, и людям. Над

полями зашевелились голубые полотна, эти полотна переливались и отдавали голубым светом, никуда не исчезали, по всему было видно, что расположились надолго. А тополиный пух, который всегда накрывал в это время Журавлиху, все еще изредка кружился в воздухе, не успев намокнуть, увертываясь от капель, но накаленный воздух постепенно отмокал, становился влажным, и пушинки отвесно спускались к земле.

Максимов сел на чью-то лавочку, снял шляпу и положил ее себе на колени. Тут его и нашел Василий.

— Алексей Иванович, плохо с тобой? Потерял тебя.

— Нет, все нормально, — Максимов встряхнулся. — Дождик хороший, давно такого не было. Сейчас еще сильнее все полезет, ко времени подоспел. Да ты садись, Василий Ильич, не размокнешь.

Василий удивленно и незаметно пожал плечами, присел рядом на мокрую лавочку.

— А если честно, страшновато, Василий Ильич, на новом месте?

— Если честно — страшновато. Знаю ведь, куда пришел, это ведь не конец, а начало только.

— Хочешь последний совет? Забудь все, что я говорил. Возьми и забудь. Деревня-то какая, гляди, умылась.

Дождь размеренно, не торопясь, штопал и штопал землю длинными струйками, уходил в нее и растворялся в ней. Купалась в теплом дожде Журавлиха.

Журавлиха, Журавлиха, родная моя деревня!

Жизнь у тебя нынче пестрая, как цветное лоскутное одеяло, каким укрывались люди твои в скудные годы. Еще ходят, и думают, и живут поблекшие старухи в своих серых от времени избах, где крашеные лавки, чугуны и ухваты, где в переднем углу, над иконами, вышитое полотенце. И трехэтажные каменные дома стоят рядом,

и весь мир, вся круглая грешная земля умещается в экране цветного телевизора.

Молодые сыновья твои и дочери пылят по стародавним улицам и переулкам на своих легковых машинах, из больших городов приезжают они в чужестранных рубашках и новыми песнями будят твои ночи.

И в чем-то они прежние жители, и в чем-то совсем другие. И ушло многое, известное, привычное, и пришло многое еще неизвестное, непонятное.

Сыты твои сыновья и дочери сегодня. Обуты и одеты. Как долго ждала ты этого времени! Как желанно мечтала ты об этом на сырых пашнях и в пустых, с мышиным запахом, амбарах, как упорно брела, добиралась к этим дням сквозь неурожай и непогоды. И вот пришла. Но кто сказал, что самые крутые перевалы остались у тебя в лихолетье? Нет, еще не один перевал придется тебе одолеть. Как никогда сильна ты теперь и сыта, но и путь не прост, не сразу поддастся. Труден он, ох, как труден. И вот уж кто-то сыто икает, не хочет идти, кто-то отстают. Но я верю в тебя, Журавлиха! Верю в твоих сыновей и дочерей и вижу их на вершине перевала. Вижу...

**Михаил Николаевич
Щукин**

ДАЛЬНИЙ КЛИН

Журавлихинские повести

Редактор *И. П. Картушин*

Художник *Ю. М. Ефимов*

Художественный редактор *А. Н. Тобух*

Технический редактор *М. Н. Коротаева*

Корректор *В. В. Туркевич*

ИБ № 1457

Сдано в набор 06.01.82. Подписано в печать 15.06.82. МН 04023. Формат 70×108¹/₃₂. Бум. тип. № 2. Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 8,40. Усл. кр.-отт. 8,75. Уч.-изд. л. 8,61. Тираж 15000. Заказ № 554. Цена 55 к.

Западно-Сибирское книжное издательство, 630099, Новосибирск, Красный проспект, 32. Типография изд-ва «Омская правда», 644056, Омск, проспект К. Маркса, 39.

Щукин М. Н.

Щ 94 Дальний клин. Журавлихинские повести.— Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1982.—192 с., ил., 4 л. ил.

Новая книжка молодого прозаика посвящена людям сибирской деревни.

Щ $\frac{70302-057}{М 143(03)-82}$ 40—82.4702010200.

Р 2

55 коп.